

Дракула

Брэм Стокер



Брэм Стокер

Дракула

«Автор»

2026

Стокер Б.

Дракула / Б. Стокер — «Автор», 2026

«Дракула» — блистательный шедевр Брэма Стокера, ставший абсолютным мировым манифестом о непостижимой силе человеческого духа, бескомпромиссной борьбе и негибимой воле к выживанию. В центре этого пронзительного и атмосферного романа — противостояние обычных людей с древним и могущественным злом. Попадая в ловушку зловещего замка в Трансильвании, герои оказываются перед лицом своих глубочайших страхов. Чтобы выстоять, им предстоит переписать сценарий собственной судьбы: совершить подлинный внутренний прорыв, мобилизовать скрытые ресурсы разума и превратить уязвимость в стальной характер. Эта книга — глубокое психологическое исследование безграничных возможностей человеческой стойкости, верности и сплоченности. Роман поражает тем, как абсолютная вера в правду, жажда знаний и железный внутренний стержень личности способны сокрушать самые непреодолимые барьеры и сражаться с тьмой.

© Стокер Б., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА I	5
ГЛАВА II	13
ГЛАВА III	21
ГЛАВА IV	29
ГЛАВА V	38
ГЛАВА VI	43
ГЛАВА VII	51
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Брэм Стокер

Дракула

ГЛАВА I

ДНЕВНИК ДЖОНАТАНА ХАРКЕРА

(записано стенографически)

3 мая. Бистриц. — Мюнхен остался позади в половине девятого вечера первого мая; в Вену прибыли уже наутро, хотя и с опозданием на час — поезд должен был подойти в шесть сорок шесть. Буда-Пешт порастил своей удивительной красотой — по крайней мере, тем немногим, что удалось разглядеть из окна вагона да во время короткой прогулки по улочкам: отходить далеко от станции не хотелось, ведь и без того опаздывали, а тронуться следовало точно по расписанию. Возникло странное, но отчётливое чувство: здесь заканчивается Запад и начинается Восток. Величавый мост через Дунай — самый западный из череды здешних великолепных мостов, — переброшенный над широкой и полноводной рекой, будто перенёс через незримую черту, за которой ещё чувствуется дыхание турецкого владычества.

Выехали вовремя и с наступлением темноты добрались до Клаузенбурга, где заночевали в отеле «Рояль». На ужин подали курицу, приготовленную под острым красным перцем — блюдо оказалось превосходным, хоть и вызвало нестерпимую жажду. (Заметка: раздобыть рецепт для Мины.) Официант пояснил, что кушанье зовётся «паприка хендль» и, будучи национальным блюдом, встретится по всему Карпатскому краю. Скучные познания в немецком здесь пришились как нельзя кстати — без них пришлось бы совсем туго.

В Лондоне, располагая свободным временем, довелось наведаться в Британский музей и покопаться в книгах и картах, касающихся Трансильвании: разумным казалось заранее хоть немного узнать о стране, где предстояло иметь дело со знатным её уроженцем. Область, названная им, лежит на самом востоке страны, там, где сходятся границы Трансильвании, Молдавии и Буковины, в самом сердце Карпат — в одном из самых диких и малоизведанных уголков Европы. Отыскать на картах точное местоположение замка Дракулы не удалось: подобных нашей Картографической службе изданий здесь попросту не существует. Зато Бистриц, названный графом почтовым городом, оказался местом вполне известным. Стоит записать здесь кое-какие заметки — пригодятся после, когда придётся рассказывать Мине о своём путешествии.

Население Трансильвании делится на четыре различных народа: саксонцы на юге, вместе с ними валахи — потомки древних даков; мадьяры на западе и секеи на востоке и севере. Именно к секеям и лежит путь — они почитают себя потомками Аттилы и гуннов, и, пожалуй, не без оснований: когда в одиннадцатом веке мадьяры покорили эти земли, гунны уже давно здесь обосновались. Читал, что во всём подлунном мире не сыскать места, где сходилась бы столько суеверий, сколько собрала подковообразная дуга Карпат — точно здесь бьётся сердце некоего таинственного водоворота воображения. Если это правда, странствие обещает быть занимательным. (Заметка: непременно расспросить графа обо всём этом.)

Ночь выдалась беспокойной, хотя постель была вполне удобна — снились какие-то странные, тревожные сны. Быть может, тому виной пёс, что выл под окном едва ли не до самого рассвета, а может, и злополучная паприка — пришлось осушить весь графин с водой, да жажда всё не отпускала. К утру удалось наконец задремать, но разбудил настойчивый стук в дверь, так что спать пришлось, судя по всему, довольно крепко. Завтрак принёс снова паприку, кукурузную кашу под названием «мамалыга» и фаршированные мясом баклажаны — блюдо, именуемое «импльетата», оказавшееся отменным. (Заметка: и этот рецепт тоже не забыть.) Завтракать пришлось наспех: поезд отправлялся без малого в восемь, хотя, примчавшись на вокзал

к половине восьмого, пришлось прождать в вагоне добрый час, прежде чем состав тронулся. Похоже, чем дальше на восток, тем меньше уважения к расписанию. Страшно представить, что творится в этом смысле где-нибудь в Китае.

Весь день поезд лениво тащился через край, дышащий красотой на каждом шагу. То возникали городки и замки на вершинах крутых холмов — точь-в-точь как на старинных миниатюрах, то дорога бежала вдоль рек, чьи широкие каменистые берега выдавали привычку к бурным разливам. Немало воды нужно, чтобы так вылизать берега. На каждой станции толпился пёстрый люд — где-то похожий на крестьян, каких доводилось видеть во Франции и Германии, в коротких куртках и круглых шляпах, где-то — куда более причудливый. Женщины поначалу казались миловидными, но вблизи впечатление портилось: слишком уж грузны в талии. Все как одна носили широкие белые рукава да пышные пояса, увешанные свисающими лентами, точно балетные пачки, — впрочем, под этим убранством всё же угадывались юбки. Самыми колоритными оказались словаки: в широкополых ковбойских шляпах, мешковатых грязно-белых штанах, полотняных рубашках и широченных кожаных поясах, сплошь утыканных медными гвоздями, с заправленными в высокие сапоги штанинами, длинными чёрными волосами и густыми чёрными усами — ни дать ни взять шайка разбойников с театральных подмостков. Впрочем, говорят, народ этот совершенно безобиден и на редкость смирен.

Сумерки уже сгущались, когда поезд достиг Бистрица — городка старинного и весьма любопытного, лежащего, по сути, на самой границе: отсюда через перевал Борго дорога уводит в Буковину. Судьба обошлась с городом сурово — печать бурной истории видна во всём. Полвека назад его пять раз опустошали страшные пожары, а в начале семнадцатого столетия он выдержал трёхнедельную осаду, унёсшую тринадцать тысяч жизней — голод и мор довершили то, что не успела война.

Граф Дракула велел остановиться в гостинице «Золотая Корона», и она порадовала на удивление патриархальным духом — хотелось ведь вобрать в себя как можно больше здешнего колорита. У самых дверей уже поджидали: приветливая пожилая женщина в tíричном крестьянском наряде — белая нижняя сорочка под двойным передником, спереди и сзади, из плотной цветной ткани, облегающей едва ли не сверх всякой скромности, — при виде гостя поклонилась и спросила: «Господин англичанин?» — «Да, — последовал ответ, — Джонатан Харкер». Она улыбнулась и что-то сказала пожилому мужчине в рубашке с закатанными рукавами, стоявшему у неё за спиной; тот отлучился и тотчас вернулся с письмом:

«Друг мой, добро пожаловать в Карпаты. С нетерпением жду вас. Нынче ночью отдохните как следует. Завтра в три часа дилижанс отправится в Буковину — место для вас уже заказано. На перевале Борго вас встретит моя карета и доставит прямо ко мне. Надеюсь, путешествие из Лондона было приятным, и пребывание в моём прекрасном краю принесёт вам радость.

Ваш друг Дракула

4 мая. Хозяин гостиницы получил от графа письмо с распоряжением позаботиться о лучшем месте в дилижансе — однако на все расспросы отвечал уклончиво, притворяясь, будто не понимает немецкой речи, хотя прежде отлично её разумел и отвечал точно по существу. Он и жена его, та самая пожилая женщина, обменялись испуганными взглядами. Пробормотав только, что деньги пришли по почте, хозяин больше ничего добавлять не пожелал. На вопрос, знаком ли он с графом Дракулой и что может рассказать о его замке, оба супруга перекрестились и, повторив, что ровным счётом ничего не знают, наотрез отказались продолжать разговор. Времени до отправления оставалось так мало, что расспросить кого-то ещё не представлялось возможным — вся эта таинственность отнюдь не внушала спокойствия.

Перед самым отъездом старушка поднялась наверх и в совершенном волнении воскликнула:

— Неужели вам непременно нужно ехать? Ах, молодой господин, неужели непременно?

Волнение настолько овладело ею, что немецкие слова путались с какими-то другими, вовсе незнакомыми, и понять её удавалось лишь путём долгих расспросов. На заявление, что отъезд неотложен и дело не терпит промедления, она вновь спросила:

— Известно ли вам, какой нынче день?

Четвёртое мая, последовал ответ. Она покачала головой:

— Да, да, это я знаю! Но знаете ли вы, что это за день?

На признание в полном непонимании она продолжила:

— Сегодня канун дня святого Георгия. Разве неведомо вам, что этой ночью, едва часы пробьют полночь, всё зло мира обретёт полную власть над землёю? Знаете ли вы, куда направляетесь и что вас там ждёт?

Отчаяние старушки было столь неподдельным, что утешить её никак не удавалось. В конце концов она упала на колени, умоляя повременить хотя бы день-другой. Всё это выглядело до крайности нелепо, однако спокойствия отнюдь не прибавляло. Дело, впрочем, не терпело отлагательств, и, стараясь говорить как можно серьёзнее, пришлось поблагодарить старушку и твёрдо заявить о неотвратимости отъезда. Тогда она поднялась, отёрла слёзы и, сняв с шеи распятие, протянула его. Что делать с подобным подарком, оставалось загадкой — воспитание в лоне англиканской церкви приучило смотреть на такие вещи как на нечто сродни идолопоклонству, — и всё же отказать доброй женщине казалось немыслимой жестокостью. Заметив, должно быть, сомнение на лице, она сама надела чётки на шею со словами «ради вашей матушки» и вышла из комнаты. Эти строки пишутся уже в ожидании дилижанса — тот, разумеется, запаздывает, — а распятие по-прежнему висит на груди. То ли страх старушки передался, то ли призрачные предания здешних мест, то ли само распятие тому виной, но спокойствия духа не чувствуется ни на грош. Если этому дневнику суждено попасть к Мине раньше, чем удастся вернуться самому, пусть он передаст ей последнее прощание. А вот, кажется, и дилижанс!

5 мая. Замок. — Серая предрассветная мгла давно рассеялась, солнце высоко поднялось над далёким горизонтом, изломанная линия которого тонет в неясной дали — не разобрать, деревья то или горы. Сон не идёт, и раз будить обещали лишь по пробуждении, лучше писать, покуда веки сами не сомкнутся. Многого стоит занести на бумагу, и — дабы никто не подумал, будто в Бистрице чрезмерно предавались чревоугодию, — опишем ужин в точности. Подавали «разбойничий шашлык»: кусочки сала, лука и говядины под красным перцем, нанизанные на палочки и зажаренные на углях — точь-в-точь как у лондонских уличных торговцев кошачьей едой. Вино, золотистый медиаш, оставляло на языке странное покалывание, впрочем, вовсе не неприятное. Выпито было всего два бокала — и ни капли больше.

При посадке в дилижанс возница ещё не занял своего места, о чём-то беседуя с хозяйкой гостиницы; разговор явно касался пассажира — оба то и дело поглядывали в его сторону, а к ним присоединились и завсегдатаи скамьи у входа, что зовётся здесь «словоносицей»; все смотрели с нескрываемым сочувствием, а порой и жалостью. То и дело повторялись какие-то странные слова — публика собралась разноязыкая, — и, вытащив карманный словарь, удалось разобрать их значение. Утешительного мало: «Ordog» — сатана, «rokol» — преисподняя, «stregoica» — ведьма, «vrolok» и «vlkoslak» — оба слова, словацкое и сербское, означают одно и то же: оборотня либо вампира. (Заметка: непременно расспросить графа об этих поверьях.)

При отправлении вся собравшаяся у дверей толпа — а разрослась она изрядно — дружно перекрестилась и вытянула в сторону кареты по два пальца. С немалым трудом удалось выведать у попутчика смысл этого жеста: узнав, что перед ним англичанин, тот объяснил — это оберег от дурного глаза. Начало путешествия к незнакомцу в неведомый край выдалось не самым обнадёживающим, однако неподдельное сочувствие и доброта провожающих трогали до глубины души. Не забыть, должно быть, никогда того последнего взгляда на гостиничный двор с его живописной, крестьящейся толпой у широкой арки, среди зелени олеандров и апель-

синовых деревьев в кадках. Возница же, чьи широкие полотняные шаровары — здесь их называют «гоца» — полностью закрывали передок козел, щёлкнул длинным кнутом над четвёркой невысоких лошадок, бегущих в ряд, — и дилижанс тронулся в путь.

Страхи перед призраками скоро развеялись, стоило залюбоваться разворачивающимся вокруг пейзажем, — хотя, понимай спутники говорили на понятном языке, отделаться от тревог, пожалуй, было бы не так легко. Впереди раскинулась зелёная холмистая земля, покрытая лесами, то и дело вздымающаяся крутыми склонами, увенчанными рощами или белеющими глухими стенами хуторов, обращённых к дороге торцом. Повсюду буйствовало цветение садов — яблонь, слив, груш, вишен; лепестки, осыпаясь, устилали траву под деревьями сплошным пёстрым ковром. Извиваясь среди этих зелёных возвышенностей так называемого Миттель-Ланда, дорога то скрывалась за плавным изгибом луга, то пряталась среди сосновых чащ, тянувшихся по склонам огненными языками. Путь оставался неровным, но дилижанс словно летел, гонимый нетерпением возницы, торопившегося как можно скорее достичь Боргопрунда. Летом здешние дороги, говорят, вполне сносны, но после зимних снегов их ещё не успели привести в порядок — обычай, разительно отличающий Карпаты от иных краёв: считается дурной приметой чинить дороги слишком тщательно, ведь ещё в старину господа намеренно оставляли их в запустении, опасаясь навести турок на мысль о переброске чужеземных войск, и без того постоянно балансируя на грани войны.

За зелёную пологих холмов Миттель-Ланда вздымались могучие лесистые склоны, переходящие в неприступные кручи самих Карпат. Горы обступали дорогу с обеих сторон, освещённые предвечерним солнцем во всём великолепии красок — глубокая синева и багрянец теней у самых вершин, зелень и бурая охра там, где трава мешалась с камнем, а дальше — нескончаемая череда зубчатых скал и острых пиков, теряющихся в снежной белизне самых высоких хребтов. Кое-где в горах открывались словно исполинские трещины, сквозь которые, по мере того как солнце клонилось к закату, то и дело вспыхивал белый отблеск падающей воды. Один из попутчиков тронул за рукав, когда дорога обогнула подножие холма, открывая взгляду заснеженную вершину, вставшую будто прямо на пути:

— «Взгляните! Истен-сек! — Божий престол!» — и благоговейно перекрестился.

Пока дорога вилась бесконечной лентой, а солнце опускалось всё ниже за спиной, вечерние тени начали смыкаться вокруг. Снежная вершина всё ещё удерживала закатный свет, окрасившись в нежный прохладный розовый цвет. То и дело встречались чехи и словаки в живописных нарядах — бросалось в глаза печальное обилие зоба среди местных жителей. Вдоль дороги то и дело попадались придорожные кресты, и всякий раз спутники осеняли себя крестным знаменем. Порой у обочины виднелся коленопреклонённый крестьянин или крестьянка перед иконой, настолько погружённые в молитву, что даже не оборачивались на стук проезжающего экипажа. Множество непривычных глазу вещей встречалось по пути: стога сена, развешанные прямо на деревьях, изящные заросли плакучих берёз, чьи белые стволы серебрились сквозь нежную зелень листвы. То и дело попадался навстречу крестьянский «лейтер-ваген» с длинной, точно хребет змеи, гибкой рамой, приспособленной к любым неровностям дороги, — на нём непременно теснилась целая компания возвращающихся домой крестьян: чехи в белых овчинах, словаки в цветных, с длинными, увенчанными топориком палками наперевес, точно копьями. С наступлением вечера заметно похолодало, а сгущающиеся сумерки слили в единую тёмную дымку кроны дубов, буков и сосен, хотя в глубоких лощинах между отрогами гор, куда постепенно поднимался дилижанс, тёмные пихты по-прежнему выделялись на фоне залежавшегося снега. Порой дорога, прорубленная прямо сквозь сосновый лес, будто ныряла под смыкающиеся в непроглядной тьме кроны, и рассыпанные меж деревьев клочья седого тумана рождали особенно жутковатое, торжественное ощущение, лишь усиливавшее мрачные мысли, навеянные ещё закатом, когда угасающий свет причудливо преломлялся в призрачных облаках, что вечно выются меж карпатских долин. Порой подъёмы становились настолько кру-

тыми, что, несмотря на спешку возницы, лошади еле тащились шагом. Хотелось, по обыкновению, сойти и пройти пешком в гору, однако возница и слышать об этом не желал.

— Нет, нет, — заявил он, — здесь пешком нельзя, собаки слишком злы, — и добавил, оглянувшись за одобрительной усмешкой спутников, с мрачной шутливостью, — да и всякого прочего перед сном может хватить с лихвой.

Единственной остановкой стала краткая пауза, чтобы зажечь фонари.

С наступлением темноты среди пассажиров возникло явное беспокойство — они то и дело обращались к вознице, словно подгоняя его. Тот немилосердно хлестал лошадей и подбадривал их дикими выкриками, требуя всё большей резвости. Наконец сквозь мрак забрезжило серое пятно света — точно расселина среди холмов. Волнение спутников усилилось, ветхий дилижанс раскачивался на огромных кожаных рессорах, точно лодка на штормовых волнах — приходилось держаться изо всех сил. Дорога сделалась ровнее, и экипаж словно полетел. Горы, казалось, придвинулись вплотную с обеих сторон, нависая мрачными громадами: начинался перевал Борго. Один за другим спутники принялись вручать подарки — настойчиво, не терпя отказа; дары эти оказались весьма причудливого свойства, но каждый преподносился с искренней сердечностью, добрым словом и благословением, сопровождаемым всё тем же суеверным жестом — крестным знамением и оберегом от дурного глаза, — который уже доводилось видеть у гостиницы в Бистрице. Затем возница подался вперёд, а спутники, перевесившись через край дилижанса, принялись жадно всматриваться во тьму. Явно ожидалось или уже происходило нечто чрезвычайно важное, однако ни один из попутчиков не пожелал ничего объяснить, сколько бы вопросов ни задавалось. Волнение не утихало довольно долго, покуда впереди не открылся восточный выход из перевала. Небо застилали тяжёлые тучи, в воздухе повисло душное, грозное напряжение — точно горный хребет разделял два разных мира, и теперь дилижанс въезжал в тот, где властвовала гроза. Взгляд напряжённо искал в темноте экипаж, который должен был доставить к графу, — каждое мгновение ожидался проблеск фонарей, но тьма оставалась непроницаемой. Лишь собственные фонари мерцали в темноте, а пар от загнанных лошадей клубился в их свете белым облаком. Впереди белела песчаная дорога — пустая, без всякого признака встречающего экипажа. Спутники облегчённо вздохнули — вздох этот прозвучал едва ли не издёвкой над собственным разочарованием. Уже возникали мысли о том, как поступить дальше, когда возница, взглянув на часы, произнёс что-то остальным — тихо, почти неразличимо, — донеслось лишь: «На час раньше срока». Затем, обернувшись, он проговорил на ломаном немецком:

— Здесь никакого экипажа нет. Видно, господина вовсе не ждут. Придётся ехать дальше, в Буковину, а назад вернуться завтра или послезавтра — лучше послезавтра.

Пока он говорил, лошади вдруг захрапели, заржали и рванулись в стороны так яростно, что вознице пришлось изо всех сил их удерживать. И тут, среди хора испуганных возгласов пассажиров и всеобщего крестного знамения, сзади вынырнула запряжённая четвёркой калеска, обогнала дилижанс и остановилась рядом. В свете фонарей стало видно: лошади — вороные, один к одному, великолепные животные. Правил ими высокий человек с длинной тёмной бородой, в широкополой чёрной шляпе, скрывавшей лицо, — виден был лишь блеск пары необычайно ярких глаз, казавшихся в свете фонаря совершенно красными.

— Что-то вы сегодня рано, друг мой, — обратился он к вознице дилижанса. Тот пробормотал в ответ:

— Английский господин очень спешил.

— Тем-то, полагаю, и объясняется ваше желание отправить его дальше, в Буковину, — отозвался незнакомец. — Меня не проведёшь, друг мой: я слишком много знаю, а лошади мои быстры.

Говоря это, он улыбнулся, и в свете фонаря обнажились неприятно резкие черты рта — ярко-алые губы и острые, белые точно слоновая кость зубы. Один из попутчиков прошептал соседу строку из баллады Бюргера «Ленора»:

«Denn die Todten reiten schnell» —

(«Ибо мёртвые скачут быстро»).

Странный возница, судя по всему, расслышал эти слова — на губах его мелькнула довольная усмешка. Пассажир поспешно отвернулся, машинально осеняя себя крестным знамением.

— Дайте сюда багаж господина, — велел новоприбывший, и вещи с необычайной поспешностью перекочевали в калеску. Затем настал черёд самому пересесть — калеска стояла вплотную к дилижансу, — и возница помог сойти, стиснув руку хваткой поистине стальной, свидетельствующей о неимоверной силе. Не проронив ни слова, он тряхнул поводьями, лошади развернулись, и калеска канула в темноту перевала. Оглянувшись, ещё виднелся пар от лошадей дилижанса в свете фонарей, а на его фоне — силуэты бывших попутчиков, крестящихся вослед. Возница щёлкнул кнутом, прикрикнул на лошадей, и дилижанс скрылся во мраке, продолжая путь на Буковину.

Стоило растаять во тьме их огням, как сердце сковал странный холод, а душу охватило одинокое, тоскливое чувство; но в тот же миг плечи укутал плащ, колени накрыл плед, и возница произнёс на превосходном немецком:

— Ночь холодна, мой господин, а хозяин мой, граф, велел позаботиться о вас как следует. Под сиденьем найдётся фляга сливовицы — здешней сливовой водки, — если пожелаете согреться.

Пить не хотелось, но самого сознания, что фляга под рукой, оказалось достаточно для некоторого утешения. Странное, тревожное чувство не отпускало, признаться, страх подступал всё ближе — окажись хоть какая-то альтернатива, соблазн воспользоваться ею оказался бы, пожалуй, непреодолим, лишь бы избежать этого неведомого ночного путешествия. Экипаж мчался ровным, стремительным ходом, затем полностью развернулся и покатил уже по другой прямой дороге. Возникло стойкое ощущение, что калеска попросту кружит по одному и тому же месту, — и, приметив некий ориентир, вскоре удалось убедиться в правоте этой догадки. Хотелось расспросить возницу о причине подобного манёвра, но страх удерживал от расспросов: любой протест, случись действительно намеренная задержка, вряд ли принёс бы пользу. Наконец, снедаемый любопытством относительно хода времени, чиркнула спичка, и при её свете обнаружилось: часы показывали без нескольких минут полночь. Известие это отозвалось лёгким потрясением — общее суеверие насчёт полуночного часа, помноженное на пережитое за день, давало о себе знать. Оставалось лишь ждать в тягостном, мучительном напряжении.

И тут где-то в отдалённой усадьбе завывла собака — протяжно, надрывно, точно от смертельного ужаса. Вой подхватила другая собака, затем ещё и ещё, покуда, разнесённый мягко засвистевшим в ущелье ветром, над всей округой не поднялся дикий, всеобъемлющий вой, казалось, доносившийся отовсюду, насколько хватало воображения проникнуть сквозь ночную тьму. При первых же звуках лошади рванулись и попятились, но возница заговорил с ними успокаивающе, и те утихли, хотя продолжали дрожать и покрываться потом, точно после внезапного панического бегства. Затем издалека, с горных склонов по обеим сторонам дороги, донёсся вой погромче и порезче — волчий, — и он взбудоражил лошадей и седока одинаково: хотелось выпрыгнуть из калески и бежать со всех ног, тогда как лошади вновь рванулись и заметались, так что вознице пришлось приложить всю свою немалую силу, дабы удержать их на месте. Спустя несколько минут, впрочем, слух притерпелся к этим звукам, а лошади настолько успокоились, что возница смог сойти и встать перед ними. Он гладил их, что-то нащёптывал на ухо — точь-в-точь как рассказывают о настоящих укротителях, — и с поразительным успехом: под его ласковыми прикосновениями животные вновь стали послушны, хотя дрожь так и не

унылась вполне. Возница вернулся на своё место и, вновь тряхнув поводьями, пустил лошадей резвым ходом. На этот раз, миновав дальний край перевала, он вдруг круто свернул на узкую боковую дорогу, уходящую вправо.

Вскоре путь пролёг меж деревьев, местами смыкавшихся над дорогой в подобие тоннеля, а порой стеснённый суровыми, хмурыми скалами по обе стороны. Хотя лес и укрывал от непогоды, нарастающий ветер всё же давал о себе знать — он стонал и посвистывал меж камней, а ветви деревьев с треском сталкивались над головой во время движения. Становилось всё холоднее, и вот уже посыпал мелкий, сухой снежок, укутавший вскоре всё вокруг белым покрывалом. Пронзительный ветер по-прежнему доносил собачий вой, хотя он слабел по мере продвижения вперёд, зато волчий лай раздавался всё ближе, точно звери смыкали кольцо со всех сторон разом. Страх становился поистине невыносимым, и лошади явно разделяли эту тревогу. Возница же, судя по всему, оставался совершенно невозмутим: он лишь поворачивал голову то влево, то вправо, хотя сквозь непроглядную тьму не удавалось разглядеть решительно ничего.

Внезапно слева мелькнул слабый голубоватый огонёк. Возница заметил его в тот же миг: тотчас остановил лошадей и, прыгнув наземь, скрылся во мраке. Что предпринять в его отсутствие, оставалось загадкой, тем паче что волчий вой звучал всё ближе; однако не успели одолеть эти раздумья, как возница вновь появился и, не проронив ни слова, занял своё место — путешествие продолжилось. Должно быть, сон всё же сморил ненадолго, поскольку одно и то же видение повторялось снова и снова, точно в кошмаре, — теперь, оглядываясь назад, оно и впрямь представляется сплошным дурным сном. Один раз огонёк вспыхнул совсем близко от дороги, и даже в темноте удавалось различить движения возницы. Он быстро направился туда, где мерцал голубой огонёк — судя по всему, совсем слабый, поскольку вовсе не озарял окрестности, — и, собрав горсть камней, выложил из них некое подобие знака. В какой-то момент возник странный оптический эффект: встав между наблюдателем и пламенем, возница несколько его не заслонил — призрачный отблеск по-прежнему был виден. Зрелище это невольно смутило, однако, поскольку длилось оно лишь мгновение, следовало отнести его на счёт усталых глаз, напряжённо всматривавшихся в темноту. Затем голубые огоньки исчезли вовсе, и путь продолжился сквозь мрак под неумолчный волчий вой, будто звери двигались вокруг сплошным кольцом.

Наконец возница отлучился дальше обычного, и в его отсутствие лошади задрожали пуще прежнего, захрапели и заметались в паническом ужасе. Видимой причины для этого не находилось — волчий вой к тому времени совершенно смолк, — но тут луна, прорвавшись сквозь тёмные тучи, показалась над зубчатым гребнем скалистой, поросшей соснами вершины, и в её свете вокруг калески обнаружилось живое кольцо волков — белые клыки, свисающие алые языки, длинные жилистые лапы и косматая шерсть. В грозном безмолвии, в котором они держались, звери казались во сто крат страшнее, чем во время самого воя. Лишь тому, кто оказался лицом к лицу с подобным ужасом, дано по-настоящему постичь его истинную суть — прежние строки не в силах передать пережитого оцепенения.

Внезапно волки словно взорвались воем — будто лунный свет пробудил в них какую-то особую ярость. Лошади метались и вставали на дыбы, обводя всё вокруг обезумевшим взглядом, полным муки, — но живое кольцо ужаса сжималось со всех сторон, не оставляя пути к бегству. Оставалось лишь звать возницу, надеясь единственным путём к спасению прорваться сквозь кольцо волков и облегчить ему обратный путь; крики и удары по борту калески должны были отпугнуть зверей хотя бы с одной стороны, дав вознице возможность добраться до экипажа. Каким образом он там оказался — осталось неизвестно, но вот уже раздался его повелительный голос, и в свете луны обнаружилась фигура, застывшая посреди дороги. Взмахнув длинными руками, точно отбрасывая некую незримую преграду, он заставил волков попя-

титься — шаг за шагом, всё дальше. В этот самый миг тяжёлая туча вновь закрыла лунный лик, и всё погрузилось во мрак.

Когда зрение вновь обрело способность различать окружающее, возница уже забирался обратно в калеску, а волки бесследно исчезли. Всё это выглядело настолько странным и жутким, что подступивший ужас лишил дара речи и всякого желания шевелиться. Время, казалось, растянулось до бесконечности, пока экипаж мчался сквозь почти непроницаемую тьму — набежавшие тучи вновь скрыли луну. Дорога то поднималась круто вверх, то ненадолго сбегала вниз, но в целом неуклонно вела всё выше и выше. Внезапно возникло отчётливое ощущение: возница осаживает лошадей во дворе исполинского, разрушенного замка, чьи высокие тёмные окна не источали ни единого проблеска света, а зубчатые, во многих местах обвалившиеся стены чёрной изломанной линией вырисовывались на фоне залитого лунным сиянием неба.

ГЛАВА II

ДНЕВНИК ДЖОНАТАНА ХАРКЕРА (продолжение)

5 мая. — Должно быть, сон всё же сморил в пути, ведь бодрствуй сознание полностью, приближение столь необычного места непременно бросилось бы в глаза. В сумраке внутренний двор казался весьма обширным, а поскольку от него разбегались несколько тёмных проходов под массивными округлыми сводами, впечатление это, пожалуй, оказалось преувеличенным. При свете дня двор ещё не доводилось увидеть.

Когда калеска остановилась, возница спрыгнул наземь и протянул руку, помогая сойти, — и вновь не укрылась от внимания его поразительная сила: ладонь стиснула запястье точно стальными тисками, способными, пожелай он того, переломать пальцы. Затем он вынес поклажу и опустил её на землю рядом — у самой громадной двери, старой, утыканной массивными железными гвоздями, вставленной в выступающий проём из тяжёлого тёсаного камня. Даже в скудном свете угадывалась богатая резьба по камню, изрядно, впрочем, стёртая временем и непогодой. Пока это всё разглядывалось, возница вновь вскочил на козлы, тряхнул поводьями — лошади рванулись вперёд, и калеска вместе с ним канула в один из тёмных проёмов.

Оставалось лишь молча стоять на месте в полной растерянности. Ни звонка, ни дверного молотка не находилось нигде; сквозь эти хмурые стены с тёмными провалами окон голос вряд ли сумел бы пробиться. Ожидание тянулось бесконечно, а вместе с ним подступали сомнения и страхи, теснясь один за другим. Что за место, что за люди здесь обитают? Что за мрачное приключение ждёт впереди? Разве в обычае у клерка стряпчего, посланного растолковать иностранцу тонкости покупки лондонского имения, переживать нечто подобное? Клерк! Мне это название вряд ли пришлось бы по душе. Впрочем, стряпчий — ведь перед самым отъездом из Лондона пришла весть об успешно сданном экзамене, и теперь звание полноправного стряпчего можно носить с полным правом! Пришлось протереть глаза и ущипнуть себя за руку, дабы удостовериться в яви происходящего. Всё это смахивало на кошмарный сон, вот-вот готовый рассеяться пробуждением дома, при первых лучах зари, пробивающихся сквозь занавески, — точь-в-точь как случалось порой после особенно утомительного дня. Но кожа отозвалась на щипок вполне явственно, а глаза не желали обманываться. Явь оставалась явью — Карпаты, ночь, замок. Оставалось лишь запастись терпением и дожидаться рассвета.

Едва эта мысль сложилась окончательно, за громадной дверью послышались тяжёлые шаги, а сквозь щели мелькнул отблеск приближающегося света. Следом донёсся звон цепей и лязг отодвигаемых массивных засовов. Ключ провернулся в замке с громким скрежетом долгого бездействия — и створка распахнулась.

На пороге стоял высокий старик, чисто выбритый, если не считать длинных седых усов, облачённый в чёрное с головы до пят — без единого цветного пятнышка во всём облике. В руке он держал старинную серебряную лампу, чей огонёк горел безо всякого стекла или колпака, отбрасывая длинные дрожащие тени на сквозняке открытой двери. Старик, изящным, почти придворным жестом правой руки приглашая войти, произнёс на безупречном английском, хотя и со странной, чужеземной интонацией:

— Добро пожаловать в мой дом! Входите свободно, по собственной воле!

Сам он навстречу не шагнул — застыл истуканом, точно приветственный жест обратил его в камень. Но стоило переступить порог, как хозяин порывисто устремился вперёд и, протянув руку, стиснул её с такой силой, что пришлось невольно поморщиться, — притом ладонь оказалась ледяной, точно у мертвеца, а не живого человека. Он повторил:

— Добро пожаловать в мой дом. Входите свободно. Уходите спокойно — и оставьте здесь хоть частицу того счастья, что принесли с собой!

Сила рукопожатия так живо напомнила хватку возницы, чьего лица разглядеть не довелось, что на мгновение закралось сомнение: не один ли и тот же человек стоит перед глазами? Дабы развеять сомнения, последовал вопрос:

— Граф Дракула?

Хозяин отвесил учтивый поклон и ответил:

— Я Дракула и приветствую вас, мистер Харкер, в своём доме. Входите же — ночной воздух студён, вам необходимо подкрепиться и отдохнуть.

С этими словами он поставил лампу на настенный кронштейн и, шагнув наружу, подхватил багаж прежде, чем удалось этому воспрепятствовать. Всякие возражения он отверг решительно:

— Нет, сударь, вы мой гость. Час поздний, прислуга не при деле — позвольте самому позаботиться о вашем удобстве.

Он настоял на том, чтобы самолично донести вещи по коридору, затем вверх по широкой винтовой лестнице, а после ещё одним длинным переходом, где шаги гулко отдавались от каменного пола. В конце пути он распахнул тяжёлую дверь — и взору открылась ярко освещённая комната с накрытым к ужину столом, а в огромном очаге весело пылали свежеподброшенные поленья.

Граф остановился, опустил вещи, затворил дверь и, пересёкши комнату, открыл ещё одну — та вела в небольшую восьмиугольную каморку, освещённую единственной лампой и, судя по всему, вовсе лишённую окон. Миновав и её, он отворил следующую дверь и жестом пригласил войти. Взору предстало отрадное зрелище: просторная спальня, тоже хорошо освещённая и обогретая пылающим камином — с недавно подброшенными поленьями, судя по их свежести, — откуда доносился гулкий рёв пламени, уходящего в широкую дымовую трубу. Граф оставил багаж внутри и удалился, промолвив на прощание:

— После долгой дороги вам, верно, захочется привести себя в порядок. Надеюсь, найдётся всё необходимое. Когда будете готовы, ждём в соседней комнате — там уже накрыт ужин.

Тепло, свет и учтивый приём хозяина словно развеяли все давешние сомнения и страхи без остатка. Придя в себя окончательно, обнаружилось острое, почти волчье чувство голода — и, наскоро приведя себя в порядок, пришлось поспешить обратно в соседнюю комнату.

Ужин уже стоял на столе. Хозяин, прислонившись к каминной кладке, изящным взмахом руки указал на стол:

— Прошу вас, садитесь и угощайтесь, чем душа пожелает. Уж простите, что не составлю компанию — я уже отужинал и более не ем по вечерам.

Ему было вручено запечатанное письмо от мистера Хокинса. Граф вскрыл конверт и прочёл послание с серьёзным видом, а затем с обаятельной улыбкой протянул письмо обратно. Один отрывок отозвался в душе истинной радостью:

«С прискорбием вынужден сообщить, что приступ подагры — недуга, коим страдаю постоянно, — совершенно исключает для меня какие-либо путешествия в ближайшее время; однако с удовольствием извещаю о возможности прислать вместо себя вполне достойную замену — человека, коему доверяю безоговорочно. Молодой человек, полный энергии и незаурядных на свой лад способностей, отличающийся редкой преданностью делу. Скромн и немногословен, вырос на моей службе. Он будет в полном вашем распоряжении на протяжении всего пребывания и исполнит любые указания».

Граф самолично подошёл и снял крышку с блюда — и тотчас последовало нападение на превосходно зажаренную курицу. Ужин довершили сыр, салат да бутылка выдержанного токайского, из которой досталось два бокала. Покуда длилась трапеза, граф расспрашивал о подробностях путешествия, и мало-помалу вся история пути оказалась пересказана без утайки.

К окончанию ужина, по настоянию хозяина, кресло придвинулось к камину, а в руках задымилась сигара, предложенная им же, хотя сам он от курения отказался. Представился,

наконец, случай как следует разглядеть хозяина — и черты его лица поразили своей необычностью.

Лицо являло собой ярко выраженный орлиный тип — резко очерченное, с высокой переносицей тонкого носа и странно изогнутыми ноздрями; лоб высокий, куполообразный, волосы редкие у висков, но пышные повсюду прочем. Брови густые, почти срастающиеся над переносицей, курчавились буйными завитками. Рот, насколько удавалось разглядеть под тяжёлыми усами, казался жёстким, почти жестоким по очертаниям, с необычайно острыми белыми зубами, выступающими над губами удивительно яркого, почти багрового оттенка — свидетельство поразительной жизненной силы для человека столь преклонных лет. Уши бледные, заострённые к верхушке; подбородок широкий и волевой, щёки худые, но крепкие. Общее впечатление — необычайная, почти мертвенная бледность.

Прежде взгляд успел отметить лишь тыльную сторону ладоней, покоившихся на коленях в отсветах пламени, — тонких и белых на вид; теперь же, вблизи, обнаружилась их истинная грубость — широкие, с приземистыми пальцами, причём в самом центре ладони пробивались волоски, что казалось особенно странным. Ногти длинные, аккуратные, заострённые до остроты бритвы. Когда граф склонился ближе, коснувшись руки, невольная дрожь пробежала по телу — возможно, виной тому послужило зловонное дыхание, но подступившая тошнота одолела настолько, что скрыть её никак не удалось. Граф, заметив это, отпрянул назад и, растянув губы в мрачноватой усмешке, обнажившей выступающие зубы ещё явственнее прежнего, вновь опустился на своё место у камина. Некоторое время оба молчали; взгляд, обращённый к окну, уловил первую бледную полосу занимающейся зари. Странная тишина, казалось, окутала всё вокруг, но вслушавшись, стало слышно, как где-то далеко внизу, в долине, заходится воем целая стая волков. Глаза графа блеснули, и он произнёс:

— Слышите их — детей ночи? Какая музыка!

Заметив, должно быть, промелькнувшее на лице выражение недоумения, он добавил:

— Ах, сударь, вам, городскому жителю, не понять чувств истинного охотника.

Затем он поднялся:

— Однако вы, верно, утомлены. Спальня давно готова, а завтра можете спать сколько душе угодно. До вечера меня не будет — так спите же спокойно, и пусть приснится что-нибудь доброе!

С учтивым поклоном он сам распахнул передо мной дверь восьмиугольной каморки, и вот уже спальня приняла усталого путника...

Голова идёт кругом от нахлынувших чудес. Сомнения одолевают; страх подступает; мысли теснятся такие странные, что признаться в них даже себе самому недостаёт духу. Да хранит Бог — хотя бы ради тех, кто дорог!

7 мая. — Снова раннее утро, но минувшие сутки принесли долгожданный отдых. Сон затянулся едва ли не до полудня и завершился сам собой, без чужого вмешательства. Одевшись, путь лежал в комнату, где накануне ужинали, — там уже стоял холодный завтрак, а кофейник грелся прямо на очаге. На столе лежала записка:

«Меня не будет какое-то время. Не дожидайтесь. — Д.»

Завтрак был съеден с большим аппетитом. Покончив с трапезой, взгляд принялся искать звонок, дабы известить прислугу об окончании еды, — но безуспешно. Странные, право, упущения в доме, где на каждом шагу бросается в глаза несомненное богатство: столовый прибор — чистого золота, притом столь искусной работы, что цена ему, должно быть, немалая. Портьеры, обивка кресел и диванов, полог над кроватью — из драгоценнейших, редкостных тканей, стоивших, надо полагать, целое состояние в пору своего изготовления: судя по всему, им уже не одна сотня лет, хотя сохранились они в превосходном состоянии. Нечто подобное доводилось видеть в Хэмптон-корте, но там ткани давно истёрлись, обветшали, изъеденные молью. Однако ни в одной из комнат не нашлось ни единого зеркала — даже на туалетном

столике не оказалось трюмо, так что пришлось довольствоваться небольшим дорожным зеркальцем для бритья. Прислуги за всё это время не встретилось ни разу, да и вообще никаких звуков в замке не улавливалось, кроме волчьего воя. Спустя некоторое время после трапезы — назвать её завтраком или обедом затруднительно, ведь час перевалил уже за пять — захотелось найти какое-нибудь чтение, поскольку бродить по замку без дозволения графа казалось неучтивым. В комнате не нашлось ровным счётом ничего — ни книги, ни газеты, ни даже письменных принадлежностей, — так что пришлось открыть ещё одну дверь, за которой обнаружилось нечто вроде библиотеки. Дверь же напротив, что вела в противоположную сторону, оказалась заперта.

В библиотеке, к немалой радости, обнаружилось великое множество английских книг — целые полки, — а также подшивки журналов и газет. Стол посредине комнаты был завален английскими изданиями, хотя ни одно из них не отличалось особой свежестью. Книги самые разные — история, география, политика, политическая экономия, ботаника, геология, право — всё об Англии, об английском укладе, обычаях и нравах. Нашлись даже такие справочные издания, как лондонский адресный справочник, «Красная» и «Синяя» книги, альманах Уитакера, армейские и флотские списки и — что особенно порадовало — юридический справочник.

Покуда взгляд блуждал по книжным корешкам, дверь отворилась, и вошёл граф. Он приветствовал сердечно, осведомившись о качестве ночного отдыха, а затем продолжил:

— Рад, что вы нашли сюда дорогу — здесь наверняка отыщется немало занятного. Эти друзья, — рука легла на переплёты книг, — верой и правдой служат мне вот уже немало лет, с тех самых пор, как зародилась мысль о путешествии в Лондон, — сколько же часов удовольствия подарили они! Через них узнал я вашу великую Англию — а узнать её означает полюбить всей душой. Как хочется пройтись по многолюдным лондонским улицам, окунуться в самую гущу человеческого водоворота, разделить его жизнь, перемены, самую его гибель — всё, что делает его тем, чем он является! Но увы — язык ваш знаком мне лишь по книгам. На вас, друг мой, вся надежда — научиться говорить на нём как должно.

— Помилуйте, граф, — последовало возражение, — вы владеете английским превосходно!

Хозяин учтиво склонил голову:

— Благодарю за столь лестную оценку, друг мой, однако боюсь, путь ещё далёк от завершения. Грамматику и слова знаю в совершенстве, но вот произносить их подобает лишь урождённому англичанину.

— Уверяю вас, говорите вы отменно.

— О нет, — возразил граф. — Знаю твёрдо: появившись я в вашем Лондоне, всякий тотчас распознал бы во мне чужестранца. Этого недостаточно. Здесь, на родине, я — знатный вельможа, боярин; простой люд меня знает, я здесь господин. Но чужак на чужбине — никто; его не знают, а не знать — значит, не замечать вовсе. Долгие годы привык повелевать — и желаю оставаться повелителем впредь, или хотя бы не подчиняться никому другому. Вы явились ко мне не только как поверенный друга моего, Питера Хокинса из Эксетера, дабы растолковать все тонкости покупки лондонского имения. Надеюсь, погостите здесь подольше, чтобы наши беседы помогли усвоить истинно английские интонации, — и прошу непременно поправлять всякую, даже мельчайшую ошибку в речи. Сожалею о столь долгой сегодняшней отлучке — но, верю, простите того, чьи дела не терпят промедления.

Разумеется, последовали заверения в полной готовности угодить, а также вопрос — дозвоительно ли впредь пользоваться библиотекой по собственному усмотрению. Ответ последовал утвердительный:

— Разумеется. Можете бродить по замку где угодно, кроме запертых дверей — куда, впрочем, вряд ли возникнет желание проникнуть. На всё есть свои причины; узри вы мир моими глазами, обладай моим знанием, многое стало бы понятнее.

В ответ последовало заверение в полном доверии, и граф продолжил:

— Мы в Трансильвании, а Трансильвания — не Англия. Обычаи здесь иные, и многое покажется странным. Впрочем, судя по уже пережитому, кое-какое представление о здешних диковинах у вас уже сложилось.

Беседа завязалась долгая; хозяин явно жаждал разговора ради самого разговора, и потому расспросы посыпались один за другим — обо всём пережитом и замеченном по пути. Порой граф уклонялся от темы или переводил разговор, притворяясь непонимающим, но чаще отвечал вполне откровенно. Осмелев со временем, последовал вопрос о загадочных ночных происшествиях — например, зачем возница останавливался у мест, где вспыхивал голубой огонёк. Граф пояснил: по общему поверью, в определённую ночь года — минувшую, если быть точным, когда все злые духи получают неограниченную власть, — голубое пламя указывает место захоронения клада.

— В том, что клады сокрыты по всему краю, через который пролегал ваш вчерашний путь, сомневаться не приходится, — продолжал он, — ведь земля эта веками служила полем битвы валахам, саксонцам и туркам. Едва ли сыщется здесь хоть пядь земли, не обильно политая человеческой кровью — будь то патриоты или захватчики. В старину бурлили нешуточные страсти, когда австрийцы и венгры являлись несметными полчищами, а патриоты выходили навстречу — мужчины и женщины, старики и дети, — поджидая врага на скалах над перевалами, дабы обрушить на головы захватчиков рукотворные лавины. Когда же победа доставалась врагу, поживиться оказывалось решительно нечем — всё ценное давно укрывала дружеская земля.

— Но как же, — последовал вопрос, — клады остаются нетронутыми столь долгий срок, коли имеется столь верный указатель, стоит лишь потрудиться поискать?

Граф улыбнулся, обнажив длинные острые клыки, скользнувшие поверх дёсен, и ответил:

— Оттого что крестьянин в глубине души — трус и глупец! Пламя это является лишь единственной ночью в году, и в эту самую ночь ни один здешний житель, коли есть выбор, не отважится переступить порог своего дома. А коли и отважится, дорогой мой, всё равно не будет знать, что делать дальше. Да что там — даже тот самый крестьянин, что приметил место, где вспыхнул огонёк, при свете дня ни за что не отыщет собственной отметки. Осмелюсь предположить — и вы бы теперь не нашли тех самых мест?

— Тут вы правы, — последовало признание. — Понятия не имею, где искать — как будто вовсе мёртв для подобного знания.

Разговор перешёл на иные предметы.

— Что ж, — промолвил наконец граф, — расскажите теперь о Лондоне и о доме, что для меня подыскали.

Извинившись за оплошность, пришлось отправиться в спальню за бумагами. Пока бумаги раскладывались по порядку, из соседней комнаты донёсся звон фарфора и серебра, а при возвращении обнаружилось: стол убран, лампы зажжены — на дворе давно стемнело. Свет горел и в кабинете-библиотеке, где граф расположился на диване, погружённый — вот уж поистине неожиданное чтение! — в английский железнодорожный справочник Брэдшо. При появлении гостя он отложил книги и бумаги в сторону, и совместными усилиями принялись разбирать планы, документы, всевозможные цифры. Интерес графа простирался решительно на всё — бесчисленные вопросы касались местности и окрестностей поместья. Судя по всему, он успел заранее изучить всё доступное по этой теме досконально — к концу разговора его осведомлённость превзошла собственную. На высказанное по этому поводу замечание последовал ответ:

— Помилуйте, друг мой, разве не насущная это необходимость? Отправляясь туда, окажусь совершенно один, а друг мой Харкер Джонатан — нет, простите, по привычке родного края ставлю фамилию впереди имени, — друг мой Джонатан Харкер не будет рядом, дабы

поправить и помочь. Он останется в Эксетере, за много миль, занятый, должно быть, юридическими бумагами вместе с другим моим другом, Питером Хокинсом. Вот так-то!

Дело о покупке поместья в Парфлите разобрали досконально. По изложению всех фактов и подписании необходимых документов, а также составлении письма мистеру Хокинсу, готового к отправке, граф поинтересовался, каким образом отыскалось столь подходящее место. В ответ были зачитаны сделанные тогда же заметки, приводимые здесь дословно:

«В Парфлите, на просёлочной дороге, отыскалось именно такое место, какое требовалось, — с обветшалой табличкой о продаже. Территория обнесена высокой древней стеной из массивного камня, давно не знавшей ремонта. Тяжёлые старинные ворота из дуба и железа насквозь изъедены ржавчиной.

Поместье носит название Карфакс — несомненно, искажённое от французского Quatre Facs, ведь дом четырёхсторонний и обращён фасадами точно по сторонам света. Общая площадь — около двадцати акров, целиком заключённых в упомянутую каменную стену. Многочисленные деревья местами придают территории мрачный вид; имеется также глубокий, тёмный пруд или небольшое озерцо, судя по всему, питаемое родниками, поскольку вода прозрачна и стекает довольно широким ручьём. Дом весьма обширен и, судя по всему, различных эпох постройки, вплоть до средневековья: одна часть сложена из необычайно толстого камня, с редкими высоко расположенными окнами, надёжно забранными железными решётками, — по виду настоящая крепостная башня, примыкающая к старинной часовне или церкви. Внутрь проникнуть не удалось за отсутствием ключа от внутренней двери, однако снаружи сделано несколько фотографий с разных точек. Дом неоднократно достраивался, притом весьма беспорядочно, так что общую площадь строений остаётся лишь предполагать — должно быть, весьма значительную. Поблизости совсем немного построек; одна из них — весьма крупное здание, недавно перестроенное под частную лечебницу для душевнобольных, впрочем, с территории поместья не просматривающееся».

По окончании чтения граф заметил:

— Рад слышать, что дом стар и обширен. Сам я происхожу из древнего рода, и жизнь в новом доме стала бы для меня погибелью. Дом не сделаешь обитаемым за один день, а много ли дней нужно, чтобы составить целый век? Радует также наличие старинной часовни — мы, трансильванская знать, не любим мысли о том, что кости наши упокоятся среди простых смертных. Не ищу ни веселья, ни радости, ни яркой неги солнечных лучей и сверкающих вод, столь любезных юным и беспечным сердцам. Молодость давно позади, а сердце, истомлённое долгими годами скорби по усопшим, разучилось откликаться на веселье. К тому же стены моего замка обветшали, тени здесь многочисленны, и ветер студёно дышит сквозь обвалившиеся зубцы и оконные проёмы. Люблю тень и сумрак, люблю оставаться наедине со своими мыслями, когда представляется случай.

Слова эти как-то не вязались с выражением лица — или, быть может, самый склад черт придавал улыбке нечто зловещее, почти сатанинское.

Вскоре, извинившись, граф удалился, попросив собрать все бумаги воедино. Отлучка затянулась, и время это скрасило разглядывание книг на полках. Один из атласов оказался раскрыт как раз на карте Англии — судя по всему, страница эта открывалась часто. При ближайшем рассмотрении на карте обнаружились небольшие пометки-кружки: один — неподалёку от Лондона, с восточной стороны, явно в том самом месте, где располагалось новое поместье; два других — возле Эксетера и Уитби на йоркширском побережье.

Прошёл добрый час, прежде чем граф вернулся.

— Ага! — воскликнул он. — Всё ещё за книгами? Похвально! Но нельзя же трудиться беспрестанно. Идёмте — мне доложили, что ужин готов.

Он взял под руку, и вместе прошли в соседнюю комнату, где на столе красовался превосходный ужин. Граф вновь извинился за отсутствие аппетита — днём довелось отобедать в

другом месте, — но, как и накануне, устроился рядом, поддерживая беседу во время трапезы. После ужина, как и в прошлый вечер, закурилась сигара, а граф остался рядом, болтая и расспрашивая обо всём на свете, час за часом. Время между тем близилось к позднему, однако прервать беседу казалось неучтивым — долг гостя обязывал во всём угождать хозяину. Сонливость не одолевала — вчерашний долгий сон придал сил, — но неизбежный озноб, охватывающий с приближением рассвета, дал о себе знать: сродни ощущению морского прилива в момент его перелома. Говорят, умирающие чаще всего выпускают дух именно на переломе зари или прилива — и всякий, кому доводилось, утомлённому и прикованному к своему посту, испытать эту перемену в самом воздухе, охотно поверит подобному поверью. Внезапно донёсся петушиный крик, пронзительно, почти неестественно резкий в прозрачном утреннем воздухе. Граф Дракула вскочил на ноги:

— Никак снова утро! Какая небрежность с моей стороны — задержать вас столь надолго. Впредь придётся рассказывать о милой новой родине, Англии, не столь занимательно, дабы не забываться настолько во времени, — и с учтивым поклоном поспешно удалился.

Пришлось вернуться в свою комнату и отдёрнуть занавеси, хотя разглядывать оказалось почти нечего: окно выходило прямоком во внутренний двор, а взору открывалась лишь тёплая серая полоса занимающегося неба. Занавеси задёрнулись вновь, и вот уже эти строки заносятся на бумагу.

8 мая. — Начинает закрадываться опасение, не слишком ли пространно ведётся этот дневник; но теперь остаётся лишь порадоваться привычке к подробным записям с самого начала — слишком уж много странного окружает это место и его обитателя, чтобы удержаться от тревоги. Как хотелось бы очутиться отсюда подальше — или вовсе никогда сюда не приезжать! Быть может, всему виной непривычный ночной уклад жизни — но когда бы дело ограничивалось лишь этим! Будь рядом хоть одна живая душа для разговора, бремя переносилось бы легче, но здесь решительно не с кем перемолвиться словом, кроме самого графа — а он!.. Закрадывается пугающее подозрение: уж не единственная ли живая душа во всём этом месте пишет сейчас эти строки. Постараемся, однако, держаться сухих фактов, насколько возможно, — это поможет сохранить присутствие духа; воображению нельзя давать волю, иначе всё пропало. Опишем же нынешнее положение дел — или, по крайней мере, то, каким оно представляется.

Сон продлился лишь несколько часов, а затем, чувствуя полную неспособность задремать снова, пришлось подняться с постели. Зеркальце для бритья висело у окна, и как раз началось бритьё, когда внезапно на плечо легла чья-то рука, а голос графа произнёс: «Доброе утро». Оторопь охватила мгновенно — ведь отражение зеркала охватывало всю комнату позади, а присутствия графа заметно не было ни секундой раньше. От неожиданности случился лёгкий порез, оставшийся, впрочем, незамеченным в первый момент. Ответив на приветствие, взгляд вновь обратился к зеркалу — проверить, в чём же состояла ошибка. На сей раз сомнений не оставалось: граф стоял совсем рядом, виден был через плечо — но отражения его в зеркале не было вовсе! Вся комната позади отражалась исправно, но никакого человека, кроме собственной фигуры, зеркало не показывало. Открытие это поразило до глубины души и, наложившись на череду прочих странностей, лишь усилило смутную тревогу, неизменно возникающую в присутствии графа; но в тот же миг обнаружилось, что порез слегка кровоточит, и струйка крови стекает по подбородку. Бритва легла на стол, а взгляд обратился в сторону в поисках пластыря. Едва граф увидел кровь, глаза его полыхнули какой-то демонической яростью, и он внезапно рванулся к горлу — рука, однако, коснулась чётко с распятием, и перемена в облике произошла мгновенная: ярость схлынула так стремительно, что впору было усомниться, существовала ли она вообще.

— Осторожнее, — произнёс граф, — берегитесь порезов. В здешних краях это опаснее, чем можно предположить.

Затем, схватив зеркальце, он продолжил:

— Вот она, окаянная вещица, всему виной! Мерзкая побрякушка людского тщеславия. Прочь её!

Одним рывком могучей руки распахнув тяжёлую раму окна, он вышвырнул зеркало наружу — внизу, на камнях двора, оно разлетелось вдребезги. Затем он удалился, не проронив более ни слова. Досадная выходка — теперь остаётся лишь гадать, как бриться впредь, разве что воспользовавшись крышкой карманных часов или донышком бритвенной чашки, благо оно металлическое.

В столовой уже был накрыт завтрак, однако самого графа нигде не удалось обнаружить, и завтракать пришлось в одиночестве. Странно, право: до сих пор ни разу не довелось увидеть, чтобы граф ел или пил, — должно быть, весьма своеобразный человек! После завтрака нашлось время немного исследовать замок. По лестнице удалось добраться до комнаты, выходящей окнами на юг. Открывшийся вид поражал великолепием — с этой точки обзор простирался далеко окрест. Замок стоит на самом краю чудовищной пропасти: брошенный из окна камень пролетел бы добрую тысячу футов, не встретив на пути ни единой преграды! Насколько хватает глаз — сплошное море зелёных древесных крон, лишь изредка прорезанное глубокими ущельями. Кое-где серебрятся нити рек, выющихся в глубоких теснинах среди леса.

Впрочем, не до описаний красот природы — вслед за осмотром вида начались дальнейшие поиски по замку: двери, двери, всюду одни лишь двери, и все до единой заперты на замок и засов. Кроме оконных проёмов в стенах замка, никакого иного пути наружу отыскать не удалось.

Замок оказался самой настоящей тюрьмой — а узником в ней стал не кто иной, как сам автор этих строк!

ГЛАВА III

ДНЕВНИК ДЖОНАТАНА ХАРКЕРА (продолжение)

Едва пришло осознание собственного пленения, как душою овладело нечто похожее на безумие. Метания вверх и вниз по лестницам, попытки распахнуть каждую дверь, заглянуть в каждое окно сменяли друг друга бесщётно; лишь спустя время осознание полной беспомощности подавило все прочие чувства. Оглядываясь теперь назад, на прошедшие часы, впору признать: рассудок на время помутился — точь-в-точь как у крысы, угодившей в западню. Когда же истина о собственной беспомощности утвердилась окончательно, пришлось опуститься в кресло со спокойствием, какого прежде не доводилось испытывать во всей жизни, и приняться размышлять, как поступить наилучшим образом. Размышления эти длятся до сих пор, не приведя ни к какому определённом решению. Ясно лишь одно: делиться своими подозрениями с графом бессмысленно. Он прекрасно осведомлён о моём заточении — ведь сам его устроил, руководствуясь, несомненно, собственными скрытыми мотивами, — а потому любая откровенность с моей стороны обернётся лишь новым обманом. Единственная разумная тактика — держать все свои опасения и знания при себе, а глаза широко открытыми. Возможно, собственные страхи попросту играют злую шутку, обманывая, точно младенца, а возможно, положение действительно отчаянное — и в последнем случае весь запас ума и хладнокровия потребуется без остатка.

Едва эта мысль оформилась окончательно, как внизу хлопнула громадная дверь — граф вернулся. В библиотеку он не заглянул сразу, а потому, осторожно проскользнув в собственную комнату, обнаружила любопытная картина: сам граф заправлял постель. Странное зрелище, лишь подтвердившее давнее подозрение — прислуги в доме попросту не существует. Позже, через дверную щель, довелось увидеть, как он же накрывает стол в столовой, — сомнений более не оставалось: раз хозяин самолично исполняет всю чёрную работу, значит, помимо него, в замке решительно никого нет. Открытие это повергло в подлинный ужас — ведь если в замке нет ни единой живой души, кроме самого графа, стало быть, именно он правил той самой каретой, что доставила сюда! Мысль поистине жуткая: если это правда, что означает его власть над волками, подчинявшимися одному лишь молчаливому взмаху руки? Отчего весь люд в Бистрице да и в самом дилижансе испытывал столь очевидный, неподдельный страх за судьбу спутника? Что означали распятие, чеснок, дикая роза, ветка рябины? Благослови Господь ту добрую, добрейшую женщину, что надела на шею распятие! Прикосновение к нему неизменно приносит утешение и придаёт сил. Странно, право: вещь, приученную считать чем-то сродни идолопоклонству, в час одиночества и беды оказывается способна утешить и поддерживать. Заключена ли в самой сущности предмета некая сила, или же распятие служит лишь осязаемым проводником памяти о сострадании и заботе? Когда-нибудь этот вопрос стоит обдумать основательнее. Пока же необходимо разузнать о графе Дракуле как можно больше — быть может, это поможет разобраться в происходящем. Нынче вечером, если удастся ловко направить разговор, граф, возможно, разговорится о себе самом. Действовать следует крайне осторожно, дабы не пробудить подозрений.

Полночь. — Состоялась долгая беседа с графом. Заведённый разговор о трансильванской истории неожиданно захватил его целиком. Рассказывая о людях, событиях, а особенно о сражениях, он говорил так, точно самолично присутствовал при каждом из них. Позднее выяснилось объяснение: для боярина гордость рода и имени становится собственной гордостью, слава предков — собственной славой, а их судьба — собственной судьбой. Всякий раз, упоминая свой род, граф неизменно говорил «мы», словно король, вещающий от лица целой державы. Как жаль, что не удаётся воспроизвести его речь дословно — она поистине завораживала, вмещая, казалось, целую историю края. Волнение постепенно овладевало графом всё

сильнее: он мерил комнату шагами, теребя пышные седые усы, стискивая всё, что попадалось под руку, точно намереваясь раздавить одной лишь силой хватки. Одно из его высказываний стоит привести здесь по возможности дословно — в нём отражена, на свой лад, целая повесть о его роде:

— Нам, секеям, есть чем гордиться — в жилах наших течёт кровь множества отважных племён, сражавшихся за господство подобно львам. Здесь, в этом водовороте европейских народов, угрское племя принесло с самого Исландии воинственный дух, дарованный им Тором и Одином, — тот самый дух, что являли миру берсерки на побережьях Европы, да и Азии с Африкой тоже, покуда народы не уверовали, будто явились сами оборотни во плоти. Явившись сюда, угры застали здесь гуннов, чья воинственная ярость выжигала землю живым пламенем, покуда обречённые народы не уверовали, будто в жилах гуннов течёт кровь древних скифских ведьм, изгнанных из родных степей и сочетавшихся с демонами пустыни. Глупцы, глупцы! Разве сыскался хоть один демон или ведьма, равные величию самому Аттиле, чья кровь течёт в этих самых жилах? — граф воздел руки. — Удивительно ли, что мы стали народом-завоевателем, народом гордым; что когда мадьяр, лангобард, авар, болгарин или турок обрушивался на наши границы несметными полчищами, мы неизменно отбрасывали их назад? Удивительно ли, что когда Арпад со своими легионами прокатился по венгерской земле, именно нас застал он у самых границ, именно здесь завершилось обретение родины? И когда мадьярская волна хлынула на восток, победоносные мадьяры признали секеев своими сородичами, и на протяжении столетий именно нам доверялась охрана турецкой границы — да что там, вечная, бессменная служба пограничной стражи, ибо, как говорят сами турки, «вода спит, да враг не дремлет». Кто радостнее нас принимал из рук властителя «кровавый меч», сзывающий под знамёна четырёх народов, кто быстрее нас стекался на зов короля? Когда, как не тогда, искуплен был великий позор нашего народа — позор Косова поля, когда знамёна валахов и мадьяр пали под полумесяцем? Кто, если не один из моего же рода, воеводой перешёл Дунай и разбил турка на его собственной земле? Вот это был истинный Дракула! Горе в том, что недостойный брат его, стоило пасть герою, продал собственный народ туркам, ввергнув его в позорное рабство! Не тот ли самый Дракула вдохновил впоследствии другого представителя рода, что снова и снова переправлял войска через великую реку в турецкие земли; кто, будучи разбит, возвращался вновь и вновь, хотя бы даже в одиночку, покидая залитое кровью поле, где гибло его воинство, ибо знал: лишь он один способен в конечном счёте одержать победу! Говорили, будто он думал лишь о себе. Вздор! Какой прок от крестьян без вожда? Чем закончится война без разума и сердца, что ведут её? И вновь, когда после битвы при Мохаче мы сбросили венгерское ярмо, представители крови Дракулы оказались в числе предводителей — дух наш не терпел неволи. Ах, юноша, секеи — а с ними Дракулы, их сердце, разум и меч, — могут похвалиться летописью, какой никогда не сравняться выскочкам вроде Габсбургов или Романовых. Воинственные времена миновали. Кровь стала слишком драгоценна в наш бесславный век позорного мира, а слава великих родов превратилась в предание.

К тому времени близилось уже утро, и настала пора отходить ко сну. (Заметка: этот дневник начинает пугающе напоминать «Тысячу и одну ночь» — всё непременно обрывается с первым криком петуха, точно призрак отца Гамлета.)

12 мая. — Начнём с фактов — голых, скудных, подтверждённых книгами и цифрами фактов, не оставляющих места сомнению, дабы не смешивать их с впечатлениями, жидущимися лишь на собственных наблюдениях да памяти. Вчера вечером граф, явившись из своих покоев, сразу же принялся расспрашивать о юридических тонкостях и особенностях ведения некоторых дел. День выдался утомительный, проведённый за книгами, и, дабы хоть чем-то занять мысли, пришлось повторить кое-какие вопросы, изученные ещё в Линкольнс-Инн. В расспросах графа угадывалась определённая система, а потому стоит изложить их по порядку — возможно, знание это ещё когда-нибудь пригодится.

Прежде всего он поинтересовался, вправе ли англичанин иметь нескольких поверенных сразу. Последовал ответ: хоть дюжину, если пожелает, однако разумнее для одной сделки нанимать лишь одного стряпчего, поскольку действовать одновременно способен лишь кто-то один, а смена доверенного лица неизбежно повредит интересам клиента. Мысль эта, судя по всему, была усвоена в полной мере, после чего последовал новый вопрос: возможно ли поручить одному поверенному банковские дела, а другому — вопросы судоходства, если требуется помощь на месте, вдали от местопребывания первого стряпчего? Ради ясности последовала просьба пояснить подробнее, дабы избежать невольного заблуждения, и граф ответил:

— Позвольте пояснить примером. Друг наш общий, мистер Питер Хокинс, из-под сени вашего прекрасного эксетерского собора, далёкого от Лондона, приобретает через ваше посредство лондонское поместье для меня. Прекрасно! Позвольте же откровенно признаться — дабы не показалось странным обращение к столь удалённому от столицы поверенному вместо какого-нибудь лондонского жителя, — истинный мотив состоял в желании оградить дело от каких-либо местных интересов, помимо собственного моего желания; ведь лондонский стряпчий, пожалуй, преследовал бы и собственную выгоду, или выгоду знакомых, а потому поиски представителя пришлось вести столь далеко от столицы, дабы служил он единственно моим интересам. Теперь предположим: обладая обширными делами, пожелай я отправить груз, скажем, в Ньюкасл, Дарем, Харидж или Дувр, — не проще ли поручить это местному агенту в каждом из этих портов?

Ответ последовал утвердительный: разумеется, проще, однако у стряпчих принята система взаимного представительства, позволяющая исполнять местные поручения по указанию любого поверенного, так что клиенту, вверившему дело одному-единственному человеку, не приходится более ни о чём заботиться.

— Но, — заметил граф, — вправе ли я и сам распоряжаться подобными делами напрямую?

— Разумеется, — последовал ответ, — так нередко поступают деловые люди, не желающие доверять всю полноту своих дел единственному лицу.

— Прекрасно! — воскликнул он и продолжил расспросы о порядке оформления грузов, необходимых формальностях, всевозможных сложностях, какие могли бы возникнуть, но предотвращаться заблаговременной предусмотрительностью. Все эти вопросы получили самое подробное разъяснение, оставившее по себе твёрдое убеждение: из графа вышел бы поистине замечательный стряпчий — не находилось решительно ничего, чего бы он не предусмотрел заранее. Для человека, никогда не бывавшего в стране и, судя по всему, не слишком обременённого коммерческими делами, познания и проницательность его поражали воображение. Удовлетворившись разъяснениями по всем интересующим вопросам — насколько удалось проверить их по имевшимся под рукой книгам, — граф внезапно поднялся и спросил:

— Писали ли вы после первого письма нашему другу мистеру Питеру Хокинсу или кому-либо ещё?

С немалой горечью в сердце последовал ответ: писем отправлять не доводилось за отсутствием такой возможности.

— Тогда пишите же немедленно, юный друг мой, — произнёс граф, опустив тяжёлую руку на плечо, — напишите нашему другу, да и всем прочим тоже; и, коли будет угодно, добавьте, что останетесь моим гостем ещё на целый месяц.

— Вы желаете столь долгого пребывания? — последовал вопрос, невольно отозвавшийся холодом в груди.

— Желаю всей душой — более того, отказа не приму. Когда ваш хозяин, наниматель, называйте как угодно, согласился прислать доверенное лицо, подразумевалось: учитываться будут исключительно мои нужды. Разве в чём-то встречали отказ от меня?

Что оставалось, кроме почтительного поклона в знак согласия? Речь шла об интересах мистера Хокинса, не моих собственных, а потому долг требовал думать прежде всего о нём. К тому же в глазах графа, в самой его повадке сквозило нечто, властно напоминающее о положении пленника, лишённого возможности выбора. Граф прочёл победу в этом поклоне, а свою власть — в смятении на лице собеседника, тотчас воспользовавшись обоими обстоятельствами со свойственной ему обходительной, неумолимой настойчивостью:

— Прошу вас, добрый юный друг мой, не касаться в письмах ничего, кроме деловых вопросов. Дружьям вашим, несомненно, будет приятно узнать, что вы пребываете в добром здравии и с нетерпением ждёте скорого возвращения домой. Не так ли?

С этими словами он протянул три листа почтовой бумаги и три конверта — тончайшей заграничной выделки. Взгляд, брошенный сначала на них, затем на самого графа с его безмятежной улыбкой, обнажившей острые клыки над алой нижней губой, дал понять без всяких слов: следует крайне тщательно выбирать выражения, ибо содержимое писем непременно окажется прочитанным. Было решено ограничиться сугубо формальными записками, тогда как истинное, подробное письмо к мистеру Хокинсу, равно как и к Мине, предстояло отправить тайно — притом Мине можно было писать стенографией, способной поставить графа в тупик, вздумай он ознакомиться с содержимым. Покончив с двумя письмами, оставалось лишь спокойно читать книгу, покуда граф сочинял собственные послания, то и дело сверяясь с какими-то справочниками на столе. Затем он забрал оба написанных письма, присовокупив к собственным, и убрал письменные принадлежности — но стоило двери затвориться за его спиной, как взгляд тотчас метнулся к оставленным на столе конвертам, лежавшим лицевой стороной вниз. Угрызения совести по этому поводу не тревожили ничуть — в подобных обстоятельствах любые средства самозащиты казались вполне оправданными.

Один конверт был адресован Сэмюэлу Ф. Биллингтону, дом номер семь по Кресент, Уитби; другой — герру Лейтнеру в Варну; третий — банку «Куттс и Ко» в Лондоне, четвёртый — банкирскому дому «Клопшток и Биллрёт» в Буда-Пеште. Второй и четвёртый конверты оказались незапечатанными. Не успел взгляд коснуться содержимого, как дверная ручка дрогнула — пришлось поспешно вернуться на прежнее место, едва успев водворить письма на прежнее место и раскрыть книгу, прежде чем граф, держа в руке ещё одно письмо, вошёл обратно в комнату. Собрав со стола готовые письма, он тщательно наклеил марки и, обернувшись, произнёс:

— Надеюсь, простите — нынче вечером предстоит немало личных дел. Уверен, всё необходимое для вашего удобства найдётся без труда.

У самой двери он обернулся и, помолчав мгновение, добавил:

— Позвольте дать совет, дорогой юный друг мой — нет, позвольте предостеречь со всей серьёзностью: буде вздумается покинуть эти покои, ни в коем случае не засыпайте в иных частях замка. Здание старое, хранит немало воспоминаний, а неосторожному сну сопутствуют дурные видения. Помните об этом предостережении! Одолей вас сонливость нынче или впредь, поспешите вернуться в собственную спальню либо в эти покои — лишь здесь отдых останется безопасным. Но коли пренебречь осторожностью, тогда... — Фразу он не закончил, ограничившись зловещим жестом, будто умывая руки. Смысл угрозы был совершенно ясен; сомнение вызывало лишь одно — способно ли какое бы то ни было сновидение сравниться ужасом с той противоестественной паутиной мрака и тайны, что медленно смыкалась вокруг.

Позднее. — Слова, записанные ранее, подтверждаются полностью, хотя сомнений теперь и не остаётся вовсе. Страх перед сном отныне будет тревожить лишь там, где может оказаться сам граф. Распятие водворено над изголовьем кровати — сдаётся, именно оно ограждает сон от дурных видений, — и там ему суждено остаться впредь.

Стоило графу удалиться, как путь лежал обратно в собственную комнату. Спустя недолгое время, не уловив ни малейшего звука, довелось выбраться наружу и подняться по каменной

лестнице туда, откуда открывался вид на юг. Необъятный простор, хоть и недоступный, дарил хотя бы иллюзию свободы — в противовес тесному сумраку внутреннего двора. Созерцая этот вид, невольно накатывало отчётливое понимание собственного пленения, а вместе с ним и неодолимое желание вдохнуть хоть глоток свежего воздуха, пусть даже ночного. Это ночное существование начинает сказываться на нервах всё заметнее — собственная тень заставляет вздрагивать, а воображение полнится самыми жуткими видениями. Видит Бог, поводов для страха в этом проклятом месте более чем достаточно! Взгляд скользил по прекрасному простору, залитому мягким жёлтым лунным светом, почти сравнявшимся яркостью с дневным. В этом мягком сиянии дальние холмы будто таяли, а тени в долинах и ущельях сгущались бархатной чернотой. Одна лишь красота пейзажа приносила утешение — покой и умиротворение наполняли каждый вдох. Облокотившись на подоконник, взгляд уловил некое движение этажом ниже и чуть левее — судя по расположению комнат, там должны были находиться окна самого графа. Окно, у которого довелось стоять, было высоким и глубоким, с каменными средниками, хотя и выветренными от времени, но всё же целыми; давно, впрочем, лишённое оконных рам. Пришлось отступить за каменную кладку и осторожно выглянуть наружу.

Взору предстала голова графа, показавшаяся из окна. Лица разглядеть не удалось, но узнавание пришло по одной лишь линии шеи, движению спины и рук — а уж руки, изученные достаточно подробно за минувшие дни, спутать было невозможно. Поначалу зрелище вызвало скорее любопытство, даже некоторое веселье — удивительно, право, сколь малым способен развлечься узник в неволе. Но интерес мгновенно обернулся отвращением и ужасом, стоило графу целиком выбраться из окна и медленно поползти вниз по стене замка над той самой чудовищной пропастью — лицом к камню, с плащом, раскинувшимся вокруг наподобие огромных крыльев. Поначалу собственным глазам отказывалось верить — казалось, лунный свет сыграл злую шутку, породив странную игру теней; но зрелище не рассеивалось, и обмана быть не могло. Пальцы рук и ног цеплялись за выступы камней, обнажённые временем от известкового раствора, и, используя малейшую неровность стены, граф спускался вниз с поразительной скоростью — точь-в-точь ящерица, скользящая по отвесной поверхности.

Что за человек предстал взору — или же то не человек вовсе, а некое существо в обманчивом человеческом обличье? Ужас этого проклятого места овладевает душой всё сильнее; страх — подлинный, всепоглощающий страх — не отпускает ни на мгновение, а бежать отсюда решительно некуда; кольцо кошмаров смыкается со всех сторон, и додумывать до конца эти мысли недостаёт духу...

15 мая. — Вновь довелось увидеть, как граф выбирается наружу тем же ящеричным манером. На сей раз спуск пришёлся наискось, футов на сто вниз и заметно левее, покуда фигура не скрылась в каком-то отверстии или окне. Едва голова графа исчезла из виду, взгляд устремился следом в надежде разглядеть побольше, но тщетно — расстояние не позволяло. Отсутствие графа за пределами замка представлялось теперь несомненным, и грех было не воспользоваться случаем для более смелых исследований, чем предпринимались доселе. Возвращение в комнату за лампой не заняло много времени — все двери, как и ожидалось, оказались заперты, притом замки выглядели сравнительно новыми; тогда путь привёл вниз по каменной лестнице, к тому самому залу, где довелось впервые переступить порог замка. Засовы поддались без особого труда, цепи удалось расцепить — но дверь оставалась запертой, а ключ бесследно исчез! Должно быть, ключ хранится в покоях графа — остаётся дожидаться случая застать его дверь незапертой, дабы завладеть ключом и бежать. Тщательному осмотру подверглись всевозможные лестницы и переходы, а также все двери, что из них открывались. Пара небольших комнат близ зала оказалась незаперта, но внутри не нашлось ничего, кроме старой, изъеденной пылью и молю мебелью. Наконец, у самой верхней ступени лестницы отыскалась дверь, казавшаяся запертой, но поддавшаяся под нажимом. Дальнейшие усилия показали: замок вовсе не заперт, а сопротивление создавали лишь просевшие петли, из-за которых

тяжёлая дверь упиралась в пол. Случай столь редкий грех было упустить, и после долгих усилий дверь удалось отжать настолько, чтобы протиснуться внутрь. Открывшееся крыло замка лежало правее знакомых покоев и этажом ниже. Из окон открывался вид на анфиладу комнат, расположенных вдоль южной стороны замка, причём крайняя комната смотрела окнами одновременно на запад и юг. С этой стороны, как и с предыдущей, зияла всё та же чудовищная пропасть. Замок стоял на выступе гигантской скалы, неприступной с трёх сторон, а потому именно здесь, куда не долетали ни праща, ни стрела, ни пушечное ядро, устроили просторные окна, даровавшие свет и уют месту, изначально предназначенному для обороны. К западу простиралась широкая долина, а за ней, вдалеке, вздымались зубчатые горные твердыни, пик за пиком, — отвесные скалы, усеянные рябиной и терновником, чьи корни цеплялись за малейшую расщелину в камне. Судя по всему, некогда это крыло замка занимали дамы — обстановка здесь выглядела заметно уютнее прежде виденной. Окна были лишены занавесей, а жёлтый лунный свет, лившийся сквозь ромбовидные стёкла, позволял различить даже краски, смягчая при этом густой слой пыли, отчасти скрадывавший следы времени и моли. Лампа казалась почти бесполезной в ярком лунном сиянии, но её присутствие всё же приносило некоторое облегчение — жуткое одиночество этого места леденило сердце и заставляло нервы дрожать. Впрочем, и это оставалось предпочтительнее одинокого пребывания в покоях, успевших опостылеть самим присутствием графа, и после недолгих попыток совладать с нервами душу окутало неожиданное умиротворение. Здесь, за небольшим дубовым столиком, где, возможно, некогда сживала какая-нибудь прекрасная дама, сочиняя с трепетом и множеством смущённых румянцев безграмотное любовное послание, и ведётся теперь стенографическая запись всего пережитого с момента последней остановки дневника. Поистине девятнадцатый век во всей своей полноте — и всё же, если чувства не обманывают, минувшие столетия хранят собственную власть, неподвластную никакой «современности».

Позднее, утро 16 мая. — Да сохранит Господь рассудок — вот до чего дошло дело. Безопасность и уверенность в ней остались далёким прошлым. Покуда длится это существование, остаётся уповать лишь на одно — не лишиться разума окончательно, если уже не поздно. И если разум ещё цел, поистине сводит с ума одна лишь мысль: изо всех мерзостей, таящихся в этом ненавистном месте, сам граф внушает наименьший ужас — ведь лишь на него одного и приходится уповать в поисках защиты, пусть даже покуда остаётся полезен его замысел. Боже великий! Боже милосердный! Дай сохранить хладнокровие — ведь иным путём лежит прямая дорога к безумию. Многое из прежде загадочного начинает проясняться. До сих пор не вполне понимался смысл шекспировских слов, вложенных в уста Гамлета:

«Мои таблички! Живо запишу...» —

но теперь, чувствуя, как собственный разум будто срывается с петель, или же предчувствуя удар, готовый обернуться подлинным помешательством, спасение находится именно в дневнике. Привычка к точным записям, должно быть, служит своего рода успокоением.

Загадочное предостережение графа испугало ещё тогда; теперь же, по здравом размышлении, пугает вдвойне — ведь отныне в его руках оказалась поистине грозная власть. Отныне даже усомниться в его словах становится страшно!

Закончив дневниковую запись и предусмотрительно спрятав книжку с пером в карман, начала одолевать дремота. Предостережение графа всплыло в памяти — но послушаться его доставило истинное удовольствие. Сонливость подступала неотвратимо, а вместе с ней и то упрямство, что неизменно сопутствует ей верным спутником. Мягкий лунный свет убаюкивал, а простор за окном дарил ощущение свободы, приносившее подлинное облегчение. Возвращаться этой ночью в мрачные, полные тревожных теней покои не хотелось вовсе — куда заманчивее казалось устроиться здесь на ночлег, там, где некогда дамы пели да коротали свои дни в неге, тревожась лишь сердцем о мужьях, ушедших на безжалостную войну. Масивный диван был отодвинут от угла так, чтобы, лёжа, можно было любоваться прекрасным

видом на восток и юг, и, вовсе не заботясь о пыли, глаза сомкнулись сами собой. Должно быть, сон всё же пришёл — хочется на это надеяться, хотя есть все основания усомниться, ведь дальнейшее развернулось с пугающей отчётливостью, настолько яркой, что теперь, сидя здесь при ясном свете утреннего солнца, решительно невозможно поверить, будто всё пережитое было лишь сном.

Одиночество вдруг обернулось иллюзией. Комната оставалась прежней, ничуть не изменившейся с момента появления здесь; на полу, в ярком лунном свете, отчётливо виднелись собственные следы, потревожившие многолетний слой пыли. В лунном сиянии, прямо напротив, стояли три молодые женщины, чей наряд и манеры выдавали благородное происхождение. В первый миг закралась мысль о сновидении — ведь, стоя спиной к луне, все трое не отбрасывали на пол ни единой тени. Они приблизились вплотную, долго разглядывали, а затем принялись перешёптываться между собой. Две были смуглы, с высокими орлиными носами, точь-в-точь как у графа, и огромными тёмными, пронзительными глазами, казавшимися почти алыми на фоне бледно-жёлтого лунного света. Третья была светловолосой — светлее не сыскать, — с пышными волнистыми прядями цвета золота и глазами, точно бледные сапфиры. Черты её лица показались смутно знакомыми, связанными с каким-то неясным, тревожным воспоминанием, но вспомнить, откуда именно, не удавалось. У всех трёх сверкали ослепительно белые зубы, точно жемчуг на фоне алых, чувственных губ. Нечто в их облике вызывало неодолимую тревогу — томительное желание, смешанное со смертельным страхом одновременно. В глубине души шевельнулось порочное, жгучее желание, чтобы эти алые губы коснулись поцелуем — признание, недостойное бумаги, ведь случись этим строкам однажды попасться на глаза Мине, боль причинилась бы немалая; но такова истинная правда. Они шептались между собой, а затем все трое разом рассмеялись — смехом серебристым, музыкальным, но при том жёстким настолько, будто звук этот вовсе не мог бы родиться из уст человеческих. Смех этот напоминал нестерпимо пронзительную, сладостную дрожь стеклянных бокалов под умелой рукой музыканта. Светловолосая кокетливо покачала головой, а обе смуглянки принялись подталкивать её вперёд. Одна произнесла:

— Начинай! Ты первая, мы последуем следом — тебе принадлежит право начать.

Другая добавила:

— Он молод и полон сил — поцелуев достанется на всех.

Оставалось лежать неподвижно, украдкой наблюдая сквозь ресницы в мучительном, сладостном предвкушении. Светловолосая приблизилась и склонилась так низко, что стало ощутимо самое движение её дыхания. Сладость эта, медовая, пьянящая, рождала ту же трепетную дрожь, что и голос, но под сладостью таилась горечь — горечь отталкивающая, подобная запаху крови.

Поднять веки полностью не доставало духу, но сквозь ресницы всё оставалось видно превосходно. Девушка опустилась на колени, склонившись ниже, откровенно упиваясь предвкушением. В самой неспешности её движений сквозила расчётливая чувственность, одновременно завораживающая и отталкивающая; выгнув шею, она облизнула губы совсем по-звериному, так что в лунном свете отчётливо блеснула влага на алых губах и красном языке, скользящем по острым белым зубам. Голова её опускалась всё ниже и ниже, покуда губы не миновали линию рта и подбородка, устремляясь, казалось, прямо к горлу. Затем движение замерло — слышался лишь тихий, чмокающий звук языка, облизывающего зубы и губы, да ощущался обжигающий жар дыхания у самой шеи. Кожа на горле начала покалывать, точно в предвкушении щекощущего прикосновения приближающейся руки — ближе, ближе. Ощутились мягкие, трепещущие касания губ на болезненно-чувствительной коже шеи, а следом — твёрдые вмятины двух острых зубов, замерших у самой поверхности, едва касаясь. Веки сомкнулись в томительном экстазе — оставалось лишь ждать, ждать, замирая сердцем.

Но в этот самый миг молниеносно нахлынуло совсем иное ощущение — присутствие графа, охваченного, казалось, настоящей бурей ярости. Глаза распахнулись сами собой — и взору предстала могучая рука графа, стиснувшая тонкую шею светловолосой девушки и с исполинской силой отбросившая её назад; синие глаза полыхнули бешенством, белые зубы яростно скрежетали, бледные щёки вспыхнули алым румянцем страсти. Но сам граф! Ни разу прежде не доводилось представить подобной ярости и неистовства — даже у демонов преисподней. Глаза его буквально пылали, алый отсвет в них казался зловещим, точно за ними бушевало адское пламя. Лицо сделалось мертвенно-бледным, черты его затвердели, точно натянутая проволока; густые брови, срастающиеся над переносицей, теперь напоминали раскалённый добела железный прут. Яростным взмахом руки он отшвырнул женщину прочь и жестом отогнал остальных, точно отбивая невидимую атаку, — тем самым властным жестом, каким доводилось умирять волков. Голосом, хоть и тихим, почти шёпотом, но пронзающим воздух насквозь и раскатывающимся по всей комнате, он произнёс:

— Как смеете вы касаться его — хоть одна из вас? Как смеете даже взглянуть на него после моего запрета? Прочь, говорю вам всем! Этот человек принадлежит мне! Берегитесь вмешиваться в мои дела, не то придётся иметь дело со мной самим.

Светловолосая, рассмеявшись бесстыдным, кокетливым смехом, дерзко бросила в ответ:

— Сам ты никогда не любил — да и не способен любить!

При этих словах остальные женщины подхватили смех — безрадостный, жёсткий, лишённый малейшей теплоты, разнёсшийся по комнате так, что впору было лишиться чувств от одного звука, — точно веселились демоны преисподней. Граф обернулся и, внимательно взглядевшись в лицо гостя, произнёс тихим шёпотом:

— Да, и я способен любить — вам самим это хорошо известно по прошлому опыту. Не так ли? Что ж, обещаю: когда закончу дела с ним, целуйте его сколько душе угодно. А теперь прочь! прочь! Мне нужно его разбудить — предстоит ещё немало работы.

— Неужели нам ничего не достанется этой ночью? — спросила одна из женщин с тихим смешком, указывая на брошенный на пол мешок, шевелившийся, будто внутри пряталось некое живое существо. В ответ граф молча кивнул. Одна из женщин метнулась вперёд и развязала мешок. Если слух не обманывал, оттуда донёсся сдавленный вздох и слабый, приглушённый плач — точь-в-точь как у полузадушенного младенца. Женщины обступили мешок плотным кольцом, покуда ужас сковывал всякую способность двигаться; но стоило моргнуть — и все они бесследно исчезли, а вместе с ними и жуткая ноша. Поблизости не было ни единой двери, через которую они могли бы пройти незамеченными — казалось, фигуры просто растворились в лунных лучах, скользнув сквозь оконный проём: на краткий миг снаружи мелькнули их смутные, тающие силуэты, прежде чем окончательно исчезнуть.

Затем накотивший ужас взял верх окончательно, и сознание погрузилось во тьму.

ГЛАВА IV

ДНЕВНИК ДЖОНАТАНА ХАРКЕРА (продолжение)

Пробуждение застало в собственной постели. Раз то не привиделось во сне, значит, сюда перенёс не кто иной, как сам граф. Попытки разобраться в подробностях ни к чему определённого не привели. Кое-какие мелкие приметы, впрочем, настораживали: одежда лежала сложенной вовсе не так, как привычно самому. Часы стояли незаведёнными, хотя за собой водится строгая привычка заводить их перед самым сном, — и подобных мелочей набралось немало. Впрочем, доказательством всё это служить не могло: возможно, тому виной обычное смятение чувств, а к смятению имелись все основания. Отраден по крайней мере один факт: коль скоро граф сам перенёс сюда и раздел, действовать пришлось, должно быть, второпях — карманы остались нетронутыми. Этот самый дневник наверняка озадачил бы графа немало — вряд ли подобное терпит хозяин замка; отобрал бы или уничтожил без колебаний. Оглядывая теперь эту комнату, прежде внушавшую столько страха, приходится признать: теперь она кажется настоящим убежищем — ничто не сравнится ужасом с теми жуткими женщинами, что были — что остаются — в ожидании случая напиться крови.

18 мая. — Довелось вновь спуститься к той самой комнате при свете дня — истина требовала подтверждения. У двери на верху лестницы обнаружилось: она затворена, притом с такой силой вдавлена в косяк, что дерево кое-где расщепилось. Засов замка оставался незадвинутым, но дверь оказалась заперта изнутри. Страшно признать: то был вовсе не сон, а потому надлежит действовать сообразно этому предположению.

19 мая. — Сети затягиваются всё туже. Вчера вечером граф самым учтивым тоном попросил составить три письма: одно — с извещением о скором завершении дел и предстоящем отъезде через несколько дней; второе — будто отправление назначено на следующее утро после написания письма; третье — будто замок уже покинут и путь лежит через Бистрицу. Хотелось воспротивиться, но открытая ссора с графом в нынешнем положении полной от него зависимости обернулась бы чистым безумием; отказ лишь возбудил бы подозрения да гнев хозяйина. Ему прекрасно известно — известно слишком многое, а потому жить далее опасно для его замыслов; единственная надежда — оттянуть развязку любой ценой. Быть может, представится случай для бегства. В глазах графа мелькнуло уже знакомое зарево нарастающей ярости — то самое, что вспыхнуло, когда он отшвырнул светловолосую женщину прочь. Объяснение прозвучало вполне убедительное: почта здесь ходит редко и ненадёжно, а письма, отправленные немедленно, успокоят близких сердцу людей; последующие же послания, заверил он с самым проникновенным видом, задержатся в Бистрице до нужного срока — на случай, если обстоятельства позволят продлить пребывание. Возражать в подобных условиях означало бы лишь возбудить новые подозрения. Пришлось притвориться согласным и спросить, какими датами следует пометить письма. Граф на минуту задумался и ответил:

— Первое пусть будет двенадцатого июня, второе — девятнадцатого, третье — двадцать девятого.

Теперь известен точный срок собственной жизни. Да поможет Господь!

28 мая. — Появился шанс на побег — или хотя бы на восточку домой. К замку прибыл табор цыган-сгани, расположившийся лагерем во внутреннем дворе. Сгани — местная разновидность цыган, о них уже имеются заметки в этом дневнике: народ, характерный именно для здешних краёв, хотя и родственный обычным цыганам всего света. Тысячами населяют они Венгрию и Трансильванию, живя почти вне всякого закона. Как правило, они примыкают к какому-нибудь знатному вельможе или боярину, принимая его имя. Бесстрашны, лишены всякой веры, помимо суеверий, и говорят исключительно на собственном наречии цыганского языка.

Придётся составить письма домой и попытаться отправить их через новых знакомцев. Уже удалось перекинуться с ними парой слов через окно, завязав знакомство. Они сняли шапки, поклонились, делали какие-то знаки — смысла которых, впрочем, разобрать не удалось не более, чем их устной речи...

Письма написаны. Мине — стенографией, а мистера Хокинса лишь попросили передать ей известие. Ей описано истинное положение дел, хотя без тех ужасов, о которых остаётся лишь догадываться, — открыть перед ней всю правду означало бы обречь её на смертельный испуг. Не дойдут письма до адресата — граф хотя бы не узнает о степени осведомлённости пленника...

Письма переданы — брошены сквозь оконную решётку вместе с золотой монетой, сопровождаемые всеми доступными знаками с просьбой отправить их по почте. Принявший письма человек прижал их к сердцу, поклонился и спрятал за шапку. Большого сделать не удалось. Оставалось лишь украдкой вернуться в кабинет и приняться за чтение. Граф не появлялся, так что нашлось время сделать эту запись...

Граф явился. Усевшись рядом, он самым вкрадчивым голосом произнёс, вскрывая два конверта:

— Стани принесли мне вот это — не ведаю, откуда взявшееся, но, разумеется, позабочусь о доставке. Взгляните! — Он, должно быть, разглядывал письма. — Одно от вас, адресовано другу моему Питеру Хокинсу; другое же... — тут взгляд его упал на странные значки внутри конверта, лицо потемнело, а глаза полыхнули недобрым огнём, — другое — гнусность, оскорбление дружбы и гостеприимства! Без подписи. Что ж! Стало быть, для нас никакого значения не имеет. — С этими словами он совершенно спокойно поднёс письмо вместе с конвертом к пламени лампы и держал, покуда бумага не обратилась в пепел. Затем продолжил:

— Письмо же Хокинсу непременно отправлю — оно ваше, а ваши письма для меня священные. Простите, друг мой, что неведомо для себя сломал печать. Не откажетесь ли запечатать заново?

Он протянул письмо, а вслед за ним, с учтивым поклоном, чистый конверт. Оставалось лишь молча надписать адрес заново и вернуть письмо в его руки. Когда граф вышел из комнаты, послышался тихий поворот ключа в замке. Спустя минуту дверь оказалась заперта — проверка подтвердила худшие опасения.

Час или два спустя граф бесшумно вошёл в комнату, застав спящим на диване. Пробудившись, обнаружилось: хозяин пребывает в самом учтивом, бодром расположении духа, и, заметив сонный вид гостя, произнёс:

— Что ж, друг мой, устали? Отправляйтесь в постель — там истинный отдых. Нынче вечером, боюсь, не найдётся времени для беседы — предстоит немало трудов, но вам, надеюсь, приснится добрый сон.

Путь лежал напрямик в спальню, и, как ни странно, сон пришёл без всяких сновидений. Отчаяние, оказывается, тоже способно даровать собственное спокойствие.

31 мая. — Проснувшись поутру, явилась мысль запастись бумагой и конвертами из дорожного мешка, чтобы держать их при себе на случай удобного момента, — но вновь ждало потрясение, вновь неожиданный удар!

Исчез весь запас бумаги, а вместе с ним все заметки, памятки о железнодорожном сообщении и маршрутах, аккредитив — словом, всё, что могло бы пригодиться после освобождения из замка. Некоторое время ушло на раздумья, а затем возникла новая мысль — обыскать дорожный саквояж и платяной шкаф, куда прежде убиралась одежда.

Костюм, в котором довелось приехать, исчез бесследно, равно как пальто и плед — никаких следов обнаружить не удалось нигде. Похоже на очередной злокозненный умысел...

17 июня. — Нынче утром, покуда мысли ломали голову над очередной загадкой, сидя на краю постели, снаружи донёсся щёлк кнутов, топот и скрежет лошадиных копыт по каменистой дороге за пределами двора. С радостью в сердце взгляд метнулся к окну — во двор въез-

жали два огромных крестьянских воза, каждый запряжённый восемью крепкими лошадьми, а во главе каждой упряжки шёл словак в широкополой шляпе, тяжёлом поясе с гвоздями, грязной овчине и высоких сапогах, с длинным посохом в руке. Путь тотчас устремился к двери — попытка спуститься и присоединиться к прибывшим через главный зал казалась вполне разумной, коль скоро для гостей отпиралась дверь. Но вновь ждало разочарование: дверь оказалась заперта снаружи.

Тогда путь пролёг к окну — оттуда полетели крики. Словаки взглянули наверх с тупым безразличием, указывая пальцами, но в этот самый миг из дверей показался предводитель сгани и, заметив жесты в сторону окна, что-то сказал, отчего все прибывшие дружно рассмеялись. С этой минуты никакие усилия, никакие жалобные крики или отчаянные мольбы не заставили их даже взглянуть в сторону окна — все упрямо отворачивались прочь. Возы были нагружены огромными квадратными ящиками с толстыми верёвочными ручками — судя по лёгкости, с какой словаки управлялись с ними, и по гулкому звуку при перемещении, все они оказались пусты. Разгрузив ящики и сложив их огромной грудой в углу двора, словаки получили от сгани плату, поплевали на монеты на удачу и лениво разошлись по своим лошадям. Вскоре щёлканье их кнутов затихло вдали.

24 июня, перед рассветом. — Вчера вечером граф удалился рано и заперся в собственных покоях. Как только представился случай, путь пролёг вверх по винтовой лестнице к окну, выходящему на юг, — возникло желание проследить за графом, ведь что-то явно затевалось. Сгани разместились где-то в замке, занятые какой-то работой — об этом свидетельствовал доносящийся временами приглушённый звук заступа и лопаты; чем бы это ни было, дело шло, судя по всему, к развязке некой беспощадной злодейской затеи.

Не прошло и получаса ожидания у окна, как из графского окна показалось некое движение. Пришлось отступить назад и внимательно наблюдать — и вот уже вся фигура целиком выбралась наружу. Новое потрясение: на графе оказался тот самый костюм, в котором довелось прибыть в замок, а на плече висел тот самый жуткий мешок, унесённый прежде женщинами. Сомнений в цели вылазки не оставалось — да ещё и в чужом обличье! Вот, стало быть, новый злодейский замысел: позволить видеть себя другим людям, дабы создать видимость, будто именно пленник разгуливает по городам и деревням, лично отправляя собственные письма, а любые злодеяния графа приписывались бы затем местными жителями не ему, а мнимому чужестранцу.

Мысль о продолжающемся заточении, без всякой законной защиты, даже той, что положена по праву обычному преступнику, приводила в неистовую ярость.

Ожидание возвращения графа затянулось надолго у окна. Затем внимание привлекли странные крохотные искорки, кружившиеся в лунных лучах — точно мельчайшие пылинки, они клубились и собирались облачками некой туманной дымки. Созерцание их приносило странное умиротворение, душу окутывало спокойствие. Устроившись поудобнее в оконной нише, взгляд с наслаждением следил за этим воздушным хороводом.

Что-то заставило вздрогнуть — далеко внизу, в невидимой долине, раздался тихий, жалобный собачий вой. Звук этот нарастал в ушах, а кружащиеся пылинки словно принимали новые очертания в такт этому вою. Ощущалась борьба — будто некий зов пробуждал самые глубины инстинкта, саму душу; полузабытые чувства силились откликнуться на этот призыв. Наступал гипноз! Всё быстрее кружились пылинки; лунные лучи, казалось, дрожали, проходя мимо в клубящийся мрак за окном. Пылинок собиралось всё больше, покуда они не начали складываться в смутные призрачные очертания. И тут внезапно пришло полное пробуждение, ясное сознание — и бегство из этого места сопровождалось криком ужаса. Призрачные фигуры, постепенно обретающие плоть из лунных лучей, принадлежали тем самым трём жутким женщинам, чьей жертвой было суждено стать. Бегство привело обратно в собственную

комнату, показавшуюся куда безопаснее — здесь не проникал лунный свет, а лампа горела ровным, ярким пламенем.

Спустя пару часов из графских покоев донёлся некий звук — нечто похожее на резкий вскрик, тотчас подавленный; затем воцарилась тишина, глубокая, жуткая тишина, от которой пробирал озноб. С колотящимся сердцем дверь была испробована на прочность — но темница оставалась темницей, и поделать ничего не удавалось. Оставалось лишь сесть и разрыдаться.

Сидя так, снаружи, во внутреннем дворе, слышался звук — отчаянный женский крик. Бросок к окну, распахнутая рама — и сквозь прутья решётки взгляду предстала женщина с растрёпанными волосами, прижимающая руки к груди, точно от долгого беге. Она стояла, прислонившись к углу воротного проёма. Заметив лицо в окне, она рванулась вперёд и выкрикнула голосом, полным угрозы:

— Чудовище, верни мне моё дитя!

Она бросилась на колени, воздев руки, и повторила те же слова тоном, разрывающим сердце. Затем рвала на себе волосы, билась в грудь, отдаваясь всей полноте безудержного, неистового горя. Наконец она рванулась вперёд, и хотя разглядеть её более не удавалось, доносился отчётливый звук — голыми руками она колотила в ворота.

Где-то высоко наверху, должно быть, на башне, раздался голос графа — резкий, металлический шёпот. Зов его, казалось, отозвался эхом отовсюду — волчьим воем со всех сторон. Не прошло и нескольких минут, как стая волков хлынула, точно прорвавшая плотину вода, сквозь широкий вход прямо во двор.

Крик женщины оборвался, а волчий вой затих довольно быстро. Вскоре звери разошлись поодиночке, облизывая пасти.

Жалости не нашлось — судьба ребёнка была уже слишком ясна, а самой женщине смерть, пожалуй, принесла избавление.

Что делать? Что вообще можно предпринять? Как вырваться из этого чудовищного плена ночи, мрака и страха?

25 июня, утро. — Никому не дано понять, сколь сладостно и дорого сердцу утро, покуда самому не доведётся выстрадать ночь. Когда солнце взошло достаточно высоко, чтобы коснуться лучами верхушки массивных ворот напротив окна, освещённое пятно показалось точь-в-точь тем местом, куда некогда опустился голубь из Ковчега. Страх спал, точно туманное одеяние, растворившееся в тепле. Пока дневная отвага не покинула, необходимо действовать. Прошлой ночью отправлено первое из помеченных задним числом писем — первое в той роковой череде, призванной стереть с лица земли всякий след самого существования.

Довольно об этом думать. Пора действовать!

Всякий раз опасность, угроза, самый страх подступали исключительно ночью. Ни разу не доводилось видеть графа при дневном свете. Возможно ли, что он спит, покуда бодрствуют прочие, дабы бодрствовать самому, когда прочие спят? Удалось бы только проникнуть в его покои! Но пути туда не находится — дверь неизменно заперта.

Впрочем, один путь всё же существует — для того, кто отважится им воспользоваться. Куда пробирается его тело, отчего бы не проникнуть и другому телу тем же путём? Собственными глазами доводилось видеть, как граф выбирается через окно. Отчего бы не последовать его примеру, проникнув в его покои тем же путём? Шансы отчаянно малы, но нужда ещё отчаяннее. Риск неизбежен. В худшем случае ждёт лишь смерть — а смерть мужчины не сравнится со смертью телёнка, и загробная жизнь, сколь бы ни страшила, всё же остаётся открытой. Да поможет Господь в этом предприятии! Прощай, Мина, если постигнет неудача; прощай, верный друг и второй отец мой; прощайте все, и последней — Мина!

Тот же день, позднее. — Попытка предпринята, и с Божьей помощью благополучное возвращение состоялось. Надлежит записать все подробности по порядку. Покуда отвага не успела остыть, путь пролёг прямо к южному окну, а оттуда — на узкий каменный карниз,

опоясывающий здание с этой стороны. Камни крупные, грубо отёсанные, а известковый раствор между ними давно вымыло временем. Сапоги пришлось снять, прежде чем отважиться на этот отчаянный путь. Один-единственный взгляд вниз убедил в необходимости впредь избегать подобного зрелища — головокружительная бездна могла лишит остатков самообладания; после этого взгляд более ни разу не обращался вниз. Направление и расстояние до графского окна были известны достаточно хорошо, так что путь удалось выдержать сообразно возможностям, какие предоставляла кладка. Головокружения не ощущалось — должно быть, чрезмерное волнение заглушило всё прочее, — а время пролетело до странности быстро: не успев опомниться, руки уже держались за подоконник, поднимая раму. Волнение, впрочем, охватило в полной мере, стоило нагнуться и скользнуть ногами вперёд внутрь комнаты. Взгляд тотчас устремился на поиски графа — и, к немалому изумлению и радости, комната оказалась пуста! Обстановка скудная, состоящая из разрозненных, судя по всему, никогда не использовавшихся вещей; мебель того же стиля, что и в южных покоях, покрыта толстым слоем пыли. Поиски ключа не увенчались успехом — ни в замке, ни где-либо ещё найти его не удалось. Единственной находкой оказалась огромная груда золота в одном из углов — монеты всех эпох, римские, британские, австрийские, венгерские, греческие, турецкие, подёрнутые пылью, точно долго пролежавшие в земле. Ни одна из них, судя по всему, не насчитывала меньше трёх сотен лет. Здесь же обнаружились цепи и украшения, некоторые с драгоценными камнями, но все старые, потускневшие.

В одном из углов комнаты располагалась тяжёлая дверь. Поскольку ни ключа от комнаты, ни ключа от наружной двери — главной цели поисков — обнаружить не удалось, оставалось лишь продолжить исследование, иначе все усилия пропали бы впустую. Дверь оказалась незапертой и вела через каменный переход к винтовой лестнице, круто уходящей вниз. Спуск потребовал осторожности — темнота на лестнице разбавлялась лишь узкими бойницами в толще кладки. У подножия обнаружился тёмный, похожий на туннель проход, откуда доносился зловещий, тошнотворный запах — запах свежескопанной земли. По мере продвижения запах становился всё гуще, тяжелее. Наконец, толкнув приоткрытую тяжёлую дверь, путь привёл в старую, разрушенную часовню, явно служившую некогда кладбищем. Крыша обвалилась, а в двух местах вели вниз ступени в подземные склепы; земля же здесь недавно подвергалась раскопкам, и вынутая почва хранилась в больших деревянных ящиках — явно тех самых, что привезли словаки. Ни единой живой души поблизости не обнаружилось, и все дальнейшие поиски выхода не принесли результата — иного пути не существовало. Тогда осмотру подверглась каждая пядь земли, дабы не упустить ни малейшего шанса. Путь привёл даже в самые склепы, куда с трудом пробивался тусклый свет, хотя сама мысль об этом внушала подлинный ужас. Два склепа не содержали ничего, кроме обломков старых гробов да груд пыли; в третьем же ждало настоящее открытие.

Там, в одном из огромных ящиков — а всего их насчитывалось пятьдесят, — на груде свежескопанной земли лежал граф! Мёртв он был или объят сном — определить не удавалось: глаза оставались открытыми, застывшими, но без тусклой мертвенной поволоки; щёки, при всей своей бледности, хранили тепло жизни; губы оставались по-прежнему алыми. Однако никакого движения, ни пульса, ни дыхания, ни биения сердца не наблюдалось вовсе. Склонившись, взгляд тщетно искал хоть малейший признак жизни. Лежал он здесь, судя по всему, не так уж долго — иначе запах земли давно бы выветрился. Крышка от ящика лежала рядом, пробитая кое-где отверстиями. Мелькнула мысль о возможных ключах при теле, но стоило приблизиться для обыска, как взгляд упал на мёртвые глаза — а в них, несмотря на мертвенную неподвижность, застыло такое выражение ненависти, пусть даже вовсе не осознающее ничего присутствия, что прочь от этого места повлекло стремглав. Покинув графские покои через окно, путь вновь пролёг по стене замка вверх. Добравшись, наконец, до собственной комнаты,

тело рухнуло на постель, тяжело дыша, а мысли заметались в тщетных попытках осмыслить увиденное...

29 июня. — Сегодняшним числом помечено последнее письмо, и граф уже позаботился доказать его подлинность — вновь довелось видеть, как он покидает замок через то же самое окно, облачённый в чужой костюм. Спускаясь по стене на манер ящерицы, невольно захотелось иметь под рукой ружьё или иное смертоносное оружие, дабы покончить с чудовищем раз и навсегда; впрочем, вряд ли оружие, выкованное одними лишь человеческими руками, способно причинить ему хоть малейший вред. Дождаться его возвращения не хватило духу — слишком свежа была память о жутких сёстрах. Путь привёл обратно в библиотеку, где чтение продолжалось, пока сон незаметно не сморил окончательно.

Пробуждение принёс сам граф, взывавший с мрачностью, доступной разве что самому мрачному из людей:

— Завтра, друг мой, настанет пора расставания. Вы вернётесь в прекрасную вашу Англию, я же займусь делами, исход которых, быть может, навсегда разлучит нас. Письмо ваше уже отправлено; завтра меня здесь не будет, но всё окажется готово к вашему отъезду. Поутру явятся сгани — у них здесь остались свои дела, — а следом словаки. Когда они завершат работу, за вами пришлют мою карету, дабы доставить к перевалу Борго, где встретите дилижанс из Буковины в Бистрицу. Впрочем, льщу себя надеждой на новую встречу в замке Дракулы.

Подозрение шевельнулось в душе, и явилось желание проверить искренность этих слов. Искренность! Само это слово кажется кощунством применительно к подобному чудовищу — а потому прозвучал прямой вопрос:

— Отчего же нельзя уехать нынче же ночью?

— Оттого, дорогой сударь, что кучер мой с лошадьми отбыли по важному поручению.

— Готов отправиться пешком, с превеликим удовольствием. Хочется покинуть замок безотлагательно.

Граф улыбнулся — улыбкой мягкой, вкрадчивой, поистине дьявольской, — и сразу стало ясно: за этой мягкостью скрывается очередная уловка.

— А как же ваш багаж?

— Не имеет ровным счётом никакого значения. Можно прислать за ним позднее.

Граф поднялся и произнёс с такой изысканной, слащавой учтивостью, что впору было протереть глаза от изумления перед подобной убедительностью:

— У вас, англичан, есть поговорка, весьма близкая моему сердцу — она отражает самый дух, коим руководствуются наши бояре: «Привечай гостя приходящего, поторопи гостя уходящего». Идёмте же, дорогой юный друг мой. Ни единого часа против вашей воли не задержу в своём доме, сколь бы ни печалило столь внезапное решение уехать. Идёмте!

С торжественной степенностью он двинулся вперёд с лампой в руке, указывая путь вниз по лестнице и через зал. Внезапно он остановился.

— Чу!

Совсем близко раздался вой множества волков. Казалось, самый звук рождается от одного взмаха его руки — точь-в-точь как музыка целого оркестра взмывает под дирижёрской палочкой. Помедлив мгновение, граф со всей прежней торжественностью направился к двери, отодвинул массивные засовы, расцепил тяжёлые цепи и принялся отворять створку.

К немалому изумлению обнаружилось: дверь вовсе не заперта на ключ. Подозрительный взгляд обожегал всё вокруг в поисках ключа — но нигде не обнаружилось ни малейшего следа.

По мере того как дверь приоткрывалась, волчий вой снаружи становился всё громче, всё яростнее; в проём уже просовывались алые пасти с клацающими зубами, тупые когтистые лапы прыгающих зверей. Стало ясно окончательно: противостоять графу в подобный момент бессмысленно — с такими союзниками под рукой любое сопротивление обречено на провал. Дверь между тем продолжала медленно приоткрываться, а в проёме стояла одна лишь фигура

графа. Внезапно пришла страшная догадка: не в этом ли самом моменте и заключается уготованная погибель — быть выданным волкам собственными же стараниями! Замысел этот отдавал поистине дьявольским коварством, вполне достойным самого графа, а потому в последний момент вырвался крик:

— Затворите дверь! Дождусь утра! — и лицо пришлось закрыть руками, скрывая слёзы горького разочарования. Одним могучим взмахом руки граф захлопнул дверь, и массивные засовы с грохотом, гулким эхом прокатившимся по всему залу, вернулись на прежнее место.

В полном молчании путь привёл обратно в библиотеку, а спустя минуту-другую — в собственную спальню. Последним, что довелось увидеть на прощание, был сам граф Дракула, посылающий воздушный поцелуй — с торжествующим багровым отблеском в глазах и улыбкой, которой позавидовал бы сам Иуда в аду.

Оказавшись в спальне, уже готовясь ко сну, послышался шёпот у самой двери. Путь бесшумно привёл к порогу — и слух, если только не подводил обман, уловил голос графа:

— Прочь, прочь, на своё место! Час ваш ещё не настал. Ждите! Наберитесь терпения! Нынешняя ночь принадлежит мне. Следующая — ваша!

Раздался тихий, сладкий переливчатый смех, и в ярости дверь распахнулась настежь — за порогом стояли три жутких женщины, облизывающих губы. При виде распахнутой двери все трое разразились чудовищным хохотом и бросились прочь.

Путь привёл обратно в спальню, где колени сами собой преклонились в молитве. Неужели конец так близок? Завтра! Завтра! Господи, помоги — и тем, кто дорог сердцу!

30 июня, утро. — Возможно, эти строки станут последними в дневнике. Сон продлился почти до самого рассвета, а пробуждение вновь застало на коленях — твёрдое намерение встретить Смерть во всеоружии, буде она явится, не оставляло ни на миг.

Наконец в самом воздухе ощутилась та неуловимая перемена, возвестившая наступление утра. Затем донёсся долгожданный петушиный крик — и пришло ощущение спасения. С радостью в сердце дверь распахнулась, а путь стремглав привёл вниз, в зал. Прежде довелось убедиться: дверь не заперта — бегство казалось уже совсем близким. Руки, дрожащие от нетерпения, расцепили цепи, отодвинули массивные засовы.

Но дверь не поддавалась. Отчаяние охватило мгновенно. Рывок следовал за рывком, дверь сотрясалась так, что, невзирая на всю массивность, дрожала в самой раме. Засов оказался задвинут — дверь заперли уже после того, как довелось покинуть графские покои прошлой ночью.

Тогда явилось отчаянное, безрассудное желание раздобыть тот самый ключ любой ценой — и путь вновь пролёг вверх, к восточному окну, а оттуда вниз по стене, прямоком в графскую комнату. Она вновь оказалась пуста — иного и не ожидалось. Ключа нигде не обнаружилось, зато груда золота оставалась на прежнем месте. Путь через угловую дверь привёл вниз по винтовой лестнице, тёмным переходом — к старой часовне. Место, где искать чудовище, было уже хорошо известно.

Огромный ящик стоял на прежнем месте, у самой стены, но крышка уже покоилась поверх, ещё не заколоченная — гвозди лишь дожидались своего часа. Ключ следовало искать при самом теле, а потому крышку пришлось поднять и прислонить к стене — и взору представило зрелище, наполнившее самую душу неизъяснимым ужасом. Там лежал граф, но облик его, казалось, наполовину помолодел: седые волосы и усы приобрели тёмный, стальной оттенок; щёки округлились, а под белизной кожи проступал рубиновый румянец; губы алели ярче прежнего — на них запеклись свежие капли крови, стекавшие из уголков рта по подбородку и шее. Даже глубоко посаженные, горящие глаза казались утонувшими в отёкшей плоти — веки и мешки под ними заметно припухли. Всё жуткое создание, казалось, попросту раздулось от выпитой крови — точь-в-точь омерзительная пиявка, изнемогающая от чрезмерного насыщения. Прикосновение к телу вызвало невольную дрожь, всё существо восставало против

самого контакта — но поиски следовало продолжить, иначе всё пропало бы. Наступающая ночь грозила превратить собственное тело в подобный же пир для трёх чудовищных сестёр. Тщательный обыск тела не выявил ни малейших признаков ключа. Тогда взгляд остановился на самом графе. На раздутом лице застыла издевательская усмешка, едва не доведшая до полного помрачения рассудка. Вот кого предстояло доставить в Лондон — туда, где среди кишящих миллионов ему предстояло, быть может, веками утолять свою кровавую жажду, порождая всё новые и новые круги полудемонических созданий, терзающих беззащитных жертв! Одна лишь эта мысль граничила с безумием. Возникло неодолимое желание избавить мир от подобного чудовища. Под рукой не нашлось иного оружия, кроме лопаты, оставленной рабочими после наполнения ящиков землёй, — и, занеся её высоко над головой, последовал удар острым краем прямо в ненавистное лицо. Но в этот самый миг голова графа повернулась, а глаза, полыхнув всей мощью василискова ужаса, устремились навстречу удару. Зрелище это словно парализовало руку — лопата дрогнула, скользнула вбок, лишь оставив глубокую рану над лбом. Лопата выпала из рук поперёк ящика, а при попытке вытащить её край лезвия зацепил крышку, вновь захлопнувшуюся, скрыв жуткое зрелище из виду. Последним, что довелось увидеть, оставалось раздутое, залитое кровью лицо, застывшее в злобной гримасе, которой позавидовала бы сама преисподняя.

Долгие раздумья о дальнейших действиях ни к чему не привели — мысли, казалось, пылали огнём, а отчаяние нарастало с каждой минутой ожидания. В эти самые минуты издавка донеслась цыганская песня, звучащая всё ближе весёлыми голосами, а вместе с ней — грохот тяжёлых колёс и щёлканье кнутов: прибывали те самые сганы и словаки, о которых упоминал граф. Бросив последний взгляд на ящик с мерзким телом, путь стремглав привёл обратно в графские покои, с твёрдым намерением броситься наружу в тот самый миг, когда откроется дверь. Затаив дыхание, слух уловил внизу скрежет ключа в огромном замке и грохот отворяемой тяжёлой двери. Должно быть, существовал ещё какой-то иной вход, либо у кого-то нашёлся ключ от одной из запертых дверей. Затем донёсся топот множества ног, постепенно затихающий в каком-то гулком, отзывающемся эхом проходе. Путь вновь устремился вниз, к склепу, в надежде отыскать этот новый вход, — но в этот самый момент словно налетел резкий порыв ветра, и дверь на винтовую лестницу захлопнулась с такой силой, что пыль взметнулась столбом с притоки. Попытка распахнуть её обратно ни к чему не привела — дверь оказалась безнадежно заклинена. Плен возобновился, а сеть гибели стягивалась всё туже.

В эту самую минуту снизу, из коридора, доносится топот множества ног и глухой стук тяжёлых грузов — несомненно, тех самых ящиков с землёй. Слышится стук молотка — заколачивают крышку. Вот уже снова гремят тяжёлые шаги вдоль зала, а следом множество других, праздных шагов.

Дверь захлопнулась, звенят цепи; в замке скрежест ключ; слышно, как его вынимают — затем отворяется и затворяется другая дверь; доносится скрип замка и засова.

Чу! Со двора, вниз по каменистой дороге, доносится грохот тяжёлых колёс, щёлканье кнутов и хор голосов сганы, удаляющийся всё дальше в неизвестность.

Полное одиночество в замке — наедине с теми жуткими женщинами. Тьфу! Мина — тоже женщина, но между ними нет решительно ничего общего. Эти же — исчадия преисподней!

Оставаться наедине с ними более нельзя; предстоит попытка взобраться по стене замка дальше прежнего. Часть золота стоит прихватить с собой — вдруг пригодится впредь. Быть может, отыщется путь прочь из этого страшного места.

А затем — домой! К ближайшему поезду, самому скорому! Прочь от этого проклятого места, от этой проклятой земли, где сам дьявол и порождения его до сих пор ступают по земле человеческими стопами!

По крайней мере, милосердие Божье превосходит милосердие этих чудовищ, а пропасть достаточно высока и крута. У подножия её человек может обрести покой — покой, подобающий человеку. Прощайте все! Мина!

ГЛАВА V

Письмо мисс Мины Мюррей к мисс Люси Вестенра

9 мая

Милая моя Люси, прости за долгое молчание — работы навалилось столько, что не продохнуть. Доля помощницы школьной наставницы порой бывает тяжким испытанием. Как жду встречи с тобой, у самого моря, где можно вволю наговориться да настроить воздушных замков! Последнее время тружусь особенно усердно — хочется не отставать от Джонатана в занятиях, и потому старательно упражняюсь в стенографии. Когда мы поженимся, эти навыки непременно пригодятся Джонатану: научившись писать достаточно быстро, смогу записывать его мысли за ним же, а после перепечатывать на машинке — с ней тоже усердно упражняюсь. Иногда мы обмениваемся письмами стенографически, а сам он ведёт стенографический дневник своих заграничных странствий. Оказавшись рядом с тобой, тоже заведу подобный дневник — вовсе не из тех, где на неделю отводится две страницы, а воскресенье втискивается в самый уголок, а скорее нечто вроде журнала, куда можно записывать по настроению. Едва ли содержимое покажется интересным посторонним — да оно для них и не предназначено. Быть может, однажды покажу записи Джонатану, найдись там что-то стоящее, но в целом это скорее упражнение для себя самой. Попробую делать так, как поступают дамы-журналистки: брать интервью, писать описания, запоминать разговоры. Говорят, при должной практике можно удерживать в памяти всё пережитое и услышанное за день. Впрочем, поглядим. О своих скромных планах расскажу при встрече. Только что получила от Джонатана несколько торопливых строк из Трансильвании — он здоров и вернётся примерно через неделю. Жду не дождусь всех его новостей — должно быть, так приятно повидать чужеземные края. Интересно, доведётся ли и нам — то есть мне с Джонатаном — увидеть их когда-нибудь вместе? Уже быют десять часов. Прощай покамест.

Любящая тебя Мина.

P.S. Не забудь рассказать все новости в ответном письме. Давненько от тебя ничего не слышно. До меня доходят слухи — особенно про какого-то высокого, красивого кудрявого молодого человека???

Письмо Люси Вестенра к Мине Мюррей

17, Чатем-стрит, среда

Милая моя Мина, должна заметить, упрёк в скверной переписке совершенно несправедлив: со времени нашего расставания писала тебе дважды, тогда как последнее твоё письмо было лишь вторым. К тому же рассказывать особо нечего — ничего примечательного попросту не происходит. В городе сейчас довольно приятно: то и дело бываем в картинных галереях, гуляем и катаемся верхом в парке. Что до высокого кудрявого молодого человека — полагаю, речь о том самом, что сопровождал меня на последнем концерте. Кто-то, видно, успел уже посплетничать. То был мистер Холмвуд. Он частенько заходит к нам в гости, а с мамой они прекрасно ладят — тем найдётся о чём поговорить. Некоторое время назад повстречался ещё один человек — прямо созданный для тебя, не будь ты уже помолвлена с Джонатаном. Отменная партия: красив, обеспечен, благородного происхождения. Врач, притом весьма способный. Только вообрази — ему всего двадцать девять, а под его началом целая огромная лечебница для душевнобольных! Мистер Холмвуд нас представил друг другу, он заходил к нам в гости, и теперь навещается частенько. Пожалуй, из всех знакомых мужчин это самый решительный, и при этом невозмутимый — держится совершенно бесстрастно. Воображаю, какую власть над пациентами должен иметь подобный человек. Есть у него любопытная привычка — глядеть прямо в лицо собеседнику, точно пытаюсь прочесть его мысли. На мне он это тоже часто испробует, но лицу себя надеждой, что орешек попался крепкий — знаю

по собственному зеркалу. А ты когда-нибудь пытаешься читать собственное лицо? Я пробую, и, уверяю, занятие небесполезное — да ещё сколько хлопот доставляет, коли прежде не пробовала. Он говорит, что я представляю для него любопытный психологический материал — и, смиренно признаю, пожалуй, так оно и есть. Ты знаешь, я недостаточно увлечена нарядами, чтобы подробно описывать новые фасоны. Наряды — скука смертная. Опять жаргон вырвался, ну да пускай — Артур эти словечки то и дело употребляет. Вот, проговорилась! Мина, мы делились друг с другом всеми секретами с самого детства, спали и ели вместе, смеялись и плакали вместе — а теперь, раз уж начала, хочу сказать большие. Ах, Мина, неужели не догадываешься? Я люблю его! Пишу эти строки и краснею — хотя, кажется, он тоже любит меня, словами об этом ещё не обмолвился. Но, Мина, я люблю его, люблю, люблю! Вот, полегчало. Как бы хотелось сейчас сидеть рядом с тобой у камина, раздеваясь ко сну, как бывало прежде, — попробовала бы объяснить свои чувства. Сама не знаю, как решилась написать об этом даже тебе. Боюсь остановиться — иначе разорву письмо в клочья, а останавливаться вовсе не хочется, ведь так нужно всё рассказать. Отпиши немедленно, поделись своими мыслями обо всём этом. Мина, пора заканчивать. Спокойной ночи. Помяни меня в своих молитвах — и, Мина, помолись о моём счастье.

Люси.

P.S. Само собой, это секрет. Ещё раз спокойной ночи. Л.

Письмо Люси Вестенра к Мине Мюррей

24 мая

Милая моя Мина, спасибо, спасибо и ещё раз спасибо за твоё чудесное письмо! Так приятно было поделиться новостью и встретить сочувствие.

Дорогая, беда, как известно, не приходит одна — сколь верны старые пословицы! Вот я, которой сентябрём стукнет двадцать, а предложения руки и сердца до сегодняшнего дня ни разу не получала — настоящего предложения, — а сегодня их случилось целых три! Только представь — ТРИ предложения за один день! Не ужас ли? Право, искренне жаль двух из этих бедных молодых людей. Ах, Мина, я так счастлива, что не знаю, куда себя деть. И целых три предложения! Но, ради всего святого, не рассказывай никому из девушек — не то у них появятся самые нелепые фантазии, и они начнут воображать себя оскорблёнными и обделёнными, если в первый же день дама не получает хотя бы шести предложений. Некоторые девицы до того тщеславны! Мы с тобой, милая Мина, будучи уже помолвлены и готовясь степенно превратиться в почтенных замужних дам, вполне можем позволить себе презирать подобное тщеславие. Что ж, придётся рассказать обо всех троих, но храни секрет, дорогая, от всех, кроме, разумеется, Джонатана. Ему-то расскажешь непременно — ведь и я на твоём месте непременно рассказала бы Артуру. Жена обязана быть откровенна с мужем во всём — не находишь ли, дорогая? — и мне следует быть честной: мужчины ценят в женщинах, особенно в жёнах, ту же честность, что и в себе самих; а женщины, боюсь, не всегда бывают настолько честны, насколько следовало бы. Так вот, дорогая, номер первый явился прямо перед обедом. Ты о нём уже слышала — доктор Джон Сьюард, тот самый заведующий лечебницей, с волевым подбородком и высоким лбом. Внешне держался вполне хладнокровно, но за этим угадывалось изрядное волнение. Судя по всему, он заранее продумал множество мелочей и старательно их помнил, но всё же едва не уселся на собственный цилиндр — что вряд ли случается с людьми, сохраняющими истинное хладнокровие, — а затем, пытаясь выглядеть непринуждённо, принялся вертеть в руках ланцет, отчего впору было закричать. Говорил он со мной, Мина, совершенно прямо. Рассказал, как дорога ему стала, хотя знакомство наше и коротко, и какой представлялась бы его жизнь рядом со мной, будь я рядом, чтобы поддерживать и утешить. Он собирался поведать о том, насколько несчастным станет, не отвечая взаимностью, но, заметив слёзы на моих глазах, назвал себя грубияном, отказавшись углублять и без того тяжёлое положение. Затем осёкся и спросил, смогу ли полюбить его со

временем; когда же в ответ прозвучало отрицательное покачивание головой, руки его задрожали, и, немного помедлив, он поинтересовался, не отдано ли уже сердце кому-то другому. Вопрос прозвучал весьма деликатно — он заверил, что вовсе не желает вынуждать откровенность, а лишь узнать наверняка, ведь пока сердце женщины свободно, у мужчины остаётся надежда. И тогда, Мина, во мне заговорил своего рода долг признаться, что сердце уже занято. Большее сказано не было — он тотчас поднялся, весьма сильный и суровый на вид, стиснул обе мои руки в своих и пожелал счастья, добавив, что при любой нужде я вправе считать его лучшим из друзей. Ах, милая Мина, не могу удержаться от слёз — прости уж, что письмо всё в кляксах. Получить предложение — вещь, разумеется, весьма приятная, но радости в ней немного, когда приходится смотреть, как бедный молодой человек, чья любовь очевидно искренна, уходит прочь с разбитым сердцем, а сама знаешь: чтобы он ни говорил в этот момент, ты уже совершенно исчезаешь из его жизни. Дорогая, придётся сейчас обновиться — чувствую себя ужасно несчастной, хотя и невероятно счастливой одновременно.

Вечер.

Артур только что ушёл, настроение заметно улучшилось с того момента, как я превралась, так что можно продолжить рассказ о сегодняшнем дне. Итак, дорогая, номер второй явился после обеда. Прелюбопытнейший молодой человек, американец из Техаса — выглядит настолько юным и свежим, что кажется почти невероятным, сколько мест ему довелось повидать и сколько приключений пережить. Испытываю теперь искреннее сочувствие к бедной Дездемоне, которой в ухо лился столь опасный поток рассказов, пусть даже от чернокожего мавра. Полагаю, мы, женщины, настолько трусливы, что воображаем мужчину способным избавить нас от страхов — и потому выходим за него замуж. Теперь-то знаю, как поступила бы на месте мужчины, желающего покорить сердце девушки. Впрочем, нет, не знаю вовсе — ведь мистер Моррис рассказывал свои истории, а Артур никогда ничего подобного не рассказывал, и всё же... Дорогая, забегаю вперёд. Мистер Квинси П. Моррис застал меня одну. Похоже, мужчинам всегда удаётся застать девушку в одиночестве. Впрочем, нет — Артур дважды пытался устроить подходящий случай, и я, чем могла, ему в этом помогала; теперь уже не стыжусь в этом признаться. Забыла упомянуть заранее: мистер Моррис не всегда изъясняется на жаргоне — вернее, никогда не делает этого при посторонних или в их присутствии, поскольку получил прекрасное образование и обладает безупречными манерами, — но, заметив, что меня забавляет его американский сленг, при удобном случае, когда рядом не оказывалось никого, кто мог бы шокироваться, принимался за самые забавные выражения. Подозреваю, дорогая, многое из этого он попросту придумывает на ходу — уж очень ловко всё подгоняется к остальной речи. Впрочем, таков уж жаргон вообще. Сама не знаю, стану ли когда-нибудь им пользоваться — неизвестно даже, нравится ли подобное Артуру, ведь от него самого жаргонных словечек слышать не доводилось. Так вот, мистер Моррис присел рядом, стараясь выглядеть как можно веселее и беззаботнее, но за этим угадывалось изрядное волнение. Взяв мою руку в свою, он произнёс чрезвычайно проникновенно:

«Мисс Люси, знаю, не мне тягаться за право оправить ишурки ваших башмачков, но осмелюсь предположить: дожидайся вы того, кто на это способен, уйдёте вслед за семью девами со светильниками, так и не дождавшись. Не согласитесь ли впрячься рядом со мной, чтобы вместе пройти долгую дорогу, в одной упряжке?»

Что ж, держался он так добродушно и весело, что отказать оказалось вовсе не так тяжело, как бедному доктору Сьюарду; потому ответила, как можно легче, что о впряжке ничего не смыслю и вовсе ещё не приучена к упряжи. Тогда он заметил, что говорил в шутливом тоне, и, коли по столь важному, столь значительному для него самому поводу выбрал неверный тон, просит прощения. Говоря это, вид у него сделался совершенно серьёзным, так что и мне поневоле передалась некоторая серьёзность — знаю, Мина, ты сочтёшь меня ужасной кокеткой, — хотя нельзя было сдержать некоторого торжества оттого, что за один день

оказалась номером вторым. И тогда, дорогая, прежде чем удалось вымолвить хоть слово, он разразился настоящим потоком признаний, слагая к моим ногам всю душу без остатка. Говорил он с таким неподдельным чувством, что впредь ни за что не поверю, будто весёлый по натуре человек не способен на подлинную серьёзность. Должно быть, что-то во взгляде заставило его умолкнуть, ведь он внезапно остановился и произнёс с мужественной прямо-той, способной покорить сердце, будь оно свободно:

«Люси, знаю, вы честны сердцем насквозь. Не решился бы говорить с вами вот так, не будь уверен в самой глубине вашей чистой души. Скажите же прямо, как один добрый мальчик другому: любите ли вы кого-нибудь ещё? И коли так — впредь ни на волос не потревожу вас более, останусь, коли позволите, самым верным другом».

Милая моя Мина, отчего мужчины бывают настолько благородны, когда мы, женщины, столь мало этого заслуживаем? Ведь я едва не насмеялась над этим великодушным, искренним джентльменом! Слёзы хлынули сами собой — боюсь, дорогая, письмо выйдет донельзя сентиментальным сразу в нескольких смыслах, — и на душе сделалось поистине тяжело. Отчего нельзя позволить девушке выйти замуж сразу за нескольких, коли столько мужчин её домогаются, — избежали бы всех этих хлопот! Впрочем, это уже настоящая ересь, лучше промолчать. Рада сообщить: несмотря на слёзы, удалось смело взглянуть в честные глаза мистера Морриса и прямо сказать:

«Да, есть тот, кого люблю, хотя он сам мне о своей любви пока не признался». Правильно поступила, что заговорила откровенно — лицо его тотчас озарилось светом; он протянул обе руки, взял мои — кажется, сама вложила их в его ладони, — и произнёс сердечным тоном:

«Вот моя храбрая девочка. Уж лучше опоздать на возможность завоевать такое сердце, чем успеть к любой другой девушке на свете. Не плачьте, дорогая. Коли дело во мне — орешек я крепкий, приму отказ достойно, стоя прямо. Коли тот, другой, парень не понимает своего счастья — пусть поторопится осознать, не то придётся иметь дело со мной. Маленькая моя, ваша честность и отвага сделали меня вашим другом — а это редкость получить любого влюблённого, во всяком случае, менее себялюбивая. Дорогая, предстоит мне отныне довольно одинокая прогулка до самого Царствия Небесного. Не подарите ли один поцелуй? Пригодится, чтобы разгонять тьму порой. Ведь вправе, коли пожелаете — тот, другой, добрый мальчик (уж должен быть добрым и достойным, дорогая, иначе вы бы его не полюбили) пока ещё не признался словами». Эти слова совершенно покорили меня, Мина, — столько отваги, нежности и благородства даже по отношению к сопернику! — а он так грустил при этом; и я, склонившись, поцеловала его. Он поднялся, всё ещё держа мои руки в своих, и, глядя мне в лицо — боюсь, я вспыхнула до корней волос, — произнёс:

«Маленькая моя, держу вашу руку, вы поцеловали меня — и коли это не делает нас друзьями, то ничто уже не сделает. Спасибо за вашу милую честность со мной. Прощайте». Он крепко пожал руку и, взяв шляпу, вышел из комнаты прямо, не оглядываясь, без единой слезинки или дрожи, без единой паузы; а я реву, точно малый ребёнок. Ах, отчего такому человеку суждено остаться несчастным, когда вокруг найдётся немало девушек, готовых боготворить самую землю под его ногами? Знаю, сама поступила бы так же, будь свободна — вот только свободной становиться вовсе не хочется. Дорогая, всё это совершенно выбило меня из колеи, а потому не решаюсь сразу писать о собственном счастье, поведав тебе об этом; о номере же третьем расскажу лишь тогда, когда всё сложится совершенно счастливо.

Всегда любящая тебя Люси.

P.S. Ах, о номере третьем — впрочем, не стоит ли и вовсе умолчать о нём? К тому же всё случилось настолько стремительно — казалось, минула лишь пара мгновений между его появлением в комнате и объятиями его рук, обнявших меня, и его поцелуями. Счастлива безмерно и сама не знаю, чем заслужила подобную милость. Остаётся лишь впредь стараться

доказать Господу, что не забыла Его доброты, пославшей столь достойного возлюбленного, мужа и друга разом.

Прощай.

Дневник доктора Сьюарда

(записан на фонограф)

25 мая. — Отлив аппетита сегодня. Не могу ни есть, ни отдыхать — потому дневник вместо трапезы. После вчерашнего отказа душу заполнила какая-то пустота; ничто в мире не кажется довольно значимым, чтобы стоило усилий... Зная, что единственное лекарство от подобных состояний — работа, отправился к пациентам. Выбрал одного, давно занимающего мой интерес как объект наблюдения. Личность настолько своеобразная, что задался целью изучить её как можно основательнее. Сегодня, кажется, удалось приблизиться к самому сердцу его тайны как никогда прежде.

Расспрашивал куда подробнее обычного, стремясь окончательно овладеть фактами его галлюцинаций. В самом способе расспросов теперь угадывается некая жестокость — упорное желание удерживать разговор на самой сути безумия, чего обычно избегаю с пациентами, точно преисподней.

(Заметка: при каких обстоятельствах не избегал бы врата преисподней?) *Omnia Romae venalia sunt* — в Риме всё продаётся. Даже у ада своя цена! *verbum sapienti*. Если за этим инстинктом скрывается нечто существенное, впоследствии стоит проследить его точнее, — потому начну прямо сейчас:

Р. М. Ренфилд, 59 лет. — Темперамент сангвинический; исключительная физическая сила; болезненная возбудимость; периоды уныния, завершающиеся некой навязчивой идеей, чьей природы разобрать пока не удаётся. Полагаю, сочетание сангвинического темперамента с тревожащим влиянием этой идеи завершается неким умственным итогом — возможно, опасным, особенно если начисто лишённым эгоизма. У людей себялюбивых осторожность служит надёжной бронёй как против врагов, так и против них самих. По этому поводу возникает следующая мысль: коли неподвижной точкой служит собственное «я», центростремительная сила уравнивает центробежную; когда же неподвижной точкой становится долг, некое дело и тому подобное, последняя сила берёт верх, и лишь случай или череда случайностей способны уравновесить её вновь.

Письмо Куинси П. Морриса уважаемому Артуру Холмвуду

25 мая

Дорогой Арт, помнишь, как травили байки у костра в прериях, перевязывали друг другу раны после неудачной высадки на Маркизских островах, пили за здоровье на берегу Титикаки? Найдётся ещё немало баек, ещё немало ран для перевязки да ещё один тост за здоровье. Не согласишься ли разделить его завтра вечером у моего костра? Не колеблясь, приглашаю, зная наверняка: некая дама приглашена на некий званый ужин, а сам ты свободен. Компанию составит лишь ещё один человек — старый наш товарищ по «Корее», Джек Сьюард. Он тоже придёт, и вдвоём нам хочется оросить бокалы совместными слезами да выпить от всего сердца за здоровье счастливейшего человека на всём белом свете, покоровшего самое благородное сердце из всех, сотворённых Господом, и достойное такой награды более всех прочих. Обещаем сердечный приём, любящее приветствие и тост, искренний, точно твоя собственная правая рука. Оба клянёмся оставить тебя дома, коли слишком уж увлечёшься тостами за некую пару глаз. Приходи же!

Твой, как всегда и навсегда, Куинси П. Моррис.

Телеграмма Артура Холмвуда Куинси П. Моррису

26 мая

Рассчитывайте на меня в любое время. Везу вести, от которых зазвенит в обоих ушах.

Арт.

ГЛАВА VI

ДНЕВНИК МИНЫ МЮРРЕЙ

24 июля. Уитби. — Люси встретила прямо на станции — милее и прелестнее прежнего, — и мы отправились к дому на Кресент, где они снимают комнаты. Прелестнейшее место! Небольшая речушка Эск протекает по глубокой долине, расширяющейся к самой гавани. Через неё перекинут внушительный виадук на высоких опорах, сквозь которые вид словно уходит дальше, чем на самом деле. Долина изумительно зелена и настолько крута, что, стоя на возвышенности по обе стороны, видишь её насквозь — разве что подойдёшь достаточно близко, чтобы заглянуть вниз. Дома старого города — по ту сторону от нас — сплошь под красными крышами, нагромождённые друг на друга самым причудливым образом, точь-в-точь как на старинных гравюрах Нюрнберга. Прямо над городом высятся руины Уитбийского аббатства, разорённого некогда датчанами, — то самое место, где разворачивается часть сюжета «Мармиона», где девушку замуровали в стене. Поистине величественные, огромные руины, полные прекрасных, романтических уголков; ходит легенда о белой даме, являющейся в одном из окон. Между аббатством и городом стоит ещё одна церковь, приходская, окружённая обширным кладбищем, сплошь заставленным надгробиями. По мне, это самое прекрасное место во всём Уитби — оно возвышается прямо над городом, открывая полный вид на гавань и весь залив вплоть до мыса Кеттлнесс, вдающегося в море. Склон над гаванью настолько крут, что часть берега уже обвалилась, разрушив некоторые могилы; кое-где каменная кладка надгробий выступает прямо над песчаной тропинкой далеко внизу. По всему кладбищу проложены дорожки со скамейками, и люди целыми днями сидят там, любясь прекрасным видом и наслаждаясь морским бризом. Сама буду частенько сюда приходить работать. Собственно, пишу эти строки прямо сейчас, положив книжку на колени и слушая беседу трёх стариков, устроившихся рядом. Похоже, они целыми днями только этим и заняты — сидят здесь наверху и разговаривают.

Внизу раскинулась гавань, а на дальней стороне тянется в море длинная гранитная стена, изогнутая на конце, посреди которой стоит маяк. Снаружи её опоясывает тяжёлый волнорез. С ближней стороны волнорез изгибается локтем в противоположную сторону, тоже завершаясь маяком. Между двумя молами открывается узкий проход в гавань, внезапно расширяющийся дальше.

Во время прилива вид чудесен, но с отливом всё мелеет почти до нуля, оставляя лишь русло Эска, бегущего между песчаными отмелями с редкими камнями. За пределами гавани с этой стороны на полмили тянется огромный риф, чей острый край выступает прямо из-за южного маяка. На самом конце его установлен буй с колоколом, раскачивающийся в непогоду и разносящий по ветру заунывный звон. Здесь бытует легенда: когда гибнет корабль, в море слышится колокольный звон. Надо непременно расспросить об этом старика — вот он направляется сюда...

Забавный старик. Должно быть, невероятно стар — лицо всё узловатое и морщинистое, точно древесная кора. Говорит, будто ему без малого сто лет, и будто служил моряком в гренландском рыболовном флоте ещё во времена Ватерлоо. Боюсь, натура он весьма скептическая — на расспросы о морских колоколах и Белой даме из аббатства ответил довольно резко:

— Не стал бы я себя этим утруждать, барышня. Всё это давным-давно устарело. Не скажу, будто никогда такого не было, но скажу твёрдо: при моей жизни не бывало. Годится это для приезжих да туристов и им подобных, а не для такой славной барышни, как вы. Эти пешеходы из Йорка да Лидса, что вечно жуют копчёную селёдку да пьют чай, да высматривают, где купить гагат подешевле, — они кому угодно поверят. Самому вот интересно, кому охота их обманывать — даже газеты, и те полны глупой болтовни.

Показалось, что от него можно узнать немало любопытного, а потому последовала просьба рассказать о китобойном промысле в старину. Он как раз собирался начать, когда пробили часы — шесть вечера, — и старик, с трудом поднявшись, произнёс:

— Пора мне домой, барышня. Внучка не любит, когда её задерживают к чаю, а мне ещё карабкаться по ступеням — уж больно их много; да и сам я, по часам судя, изрядно проголодался.

Он заковылял прочь, и было видно, как торопится, насколько позволяют силы, вниз по ступеням. Эти ступени — примечательная местная достопримечательность: ведут от города прямо к церкви, сотни их — точное число неведомо, — выходящих изящным изгибом; уклон настолько плавный, что лошадь легко прошла бы вверх и вниз. Полагаю, изначально они как-то связаны с аббатством. Пора и самой возвращаться домой. Люси отправилась с матерью с визитами, а поскольку визиты чисто протокольные, сопровождать их не стала. К этому часу они уже, должно быть, дома.

1 августа. — Поднялась сюда час назад вместе с Люси, и завязалась презанятнейшая беседа со старым знакомцем да двумя его неизменными спутниками. Он у них явно в роли непререкаемого авторитета, и, судя по всему, в своё время был человеком весьма властным. Ничего не признаёт, всех переспорит. Не сумев переубедить словами — запугивает, а молчание оппонентов принимает за согласие со своими взглядами. Люси, в белом батистовом платице, выглядела прелестно — с тех пор как приехала сюда, у неё чудесный румянец на щеках. Заметила, что старики не мешкали, поспешив устроиться поближе к ней, стоило нам присесть. Она удивительно мила со стариками — думаю, все они влюбились в неё с первого взгляда. Даже мой знакомый старик сдался, не стал ей возражать, зато удвоил внимание ко мне. Навела разговор на местные легенды, и он тотчас пустился в целую проповедь. Постараюсь запомнить и записать дословно:

— Всё это одна глупая болтовня, целиком и полностью, вот что это есть, и ничего больше. Эти запреты да наветы, призраки да лешаки, да прочая нечисть годятся разве что ребянтню да истеричных баб пугать. Сплошные пузыри воздушные. И они, да всякие знаки да предзнаменования, всё это выдуманно попами да писаками зловредными, да зазывалами железно-дорожными, чтобы страшать простофиль да заставлять людей делать то, к чему сами они не расположены. Меня от одной мысли об этом зло берёт. Мало им печатать ложь на бумаге да проповедовать с амвона — так ещё и на могильных камнях норовят её высечь! Погляди вокруг, в любую сторону: все эти камни, гордо задирающие головы, насколько хватает сил, — а сами того гляди повалятся под тяжестью написанной на них лжи. «Здесь покоится тело» или «Священной памяти» — написано на всех подряд, а ведь почти в половине из них тел вовсе нет; и памяти этой самой никто ни на грош не заботится, не то что священной. Всё сплошная ложь, ложь того или иного сорта! Ей-богу, вот будет потеха в Судный день, когда они полезут наверх в своих саванах, все перепутавшиеся, да ещё норовя приволочь с собой могильные камни в доказательство собственной добродетели — иные трясущиеся да дрожащие, руки от долгого лежания в море такие скользкие да задубелые, что и камня своего не удержат.

По самодовольному виду старика, по тому, как он оглядывался в поисках одобрения приятелей, стало ясно: он попросту красуется, — и потому, дабы поддержать разговор, последовала реплика:

— Ну что вы, мистер Суэйлс, не может же это быть всерьёз! Неужели все эти надгробия сплошь неправда?

— Ещё бы! Найдётся, положим, десяток-другой не совсем лживых — разве что покойника чересчур уж расхваливают; ведь находятся люди, что бальзамную чашу за целое море принимают, лишь бы своя была. Всё это сплошная ложь. Вот поглядите сюда: вы человек здесь приезжий, видите это кладбище? — Я кивнула, сочтя за лучшее согласиться, хотя диалект его понимала не вполне, разобрав лишь связь с церковью. Он продолжил: — И воображаете, будто

под всеми этими камнями лежат себе люди, аккуратно да чинно уложенные? — Снова кивок в ответ. — Вот тут-то и кроется ложь. Да добрая половина этих могил пуста, точно табакерка старого Дана в пятницу вечером. — Он подтолкнул локтем одного из приятелей, и все дружно рассмеялись. — И как же иначе, скажите на милость? Поглядите вот на этот, самый дальний от скамьи: прочтите-ка!

Я подошла и прочла:

«Эдвард Спенслэ, капитан торгового флота, убит пиратами у берегов Андреса, апрель 1854 года, 30 лет от роду».

Вернувшись на место, услышала продолжение мистера Суэйлса:

— И кто же, интересно, привёз его домой упокоить здесь? Убит у берегов Андреса! А вы вообразили, будто тело под камнем лежит! Да я вам десяток назову, чьи кости покоятся в гренландских морях, — он указал на север, — или где там их течением разнесло. Вон сколько камней вокруг — молодыми глазами разберёте мелкую печать этой лжи прямо отсюда. Вот этот Брейтуэйт Лоури — знал его отца, погибшего на «Лайвли» у берегов Гренландии в двадцатом году; или Эндрю Вудхауз, утонувший в тех же водах в семьдесят седьмом; или Джон Пакстон, утонувший у мыса Фэруэлл годом позже; или старый Джон Роулингс, чей дед плавал со мной, утонувший в Финском заливе в пятидесятом. Думаете, все эти люди ринутся в Уитби, когда труба вострубит? Сильно в этом сомневаюсь! Скажу вам, соберись они здесь все разом, такая бы началась толкотня да свалка — точь-в-точь как в старину на льду, когда мы дрались друг с другом от рассвета до заката да перевязывали порезы при свете северного сияния.

Судя по всему, это была местная шутка, поскольку старик закудахтал от смеха, а приятели с удовольствием подхватили.

— Но, — заметила я, — разве не заблуждаетесь вы, исходя из предположения, будто все бедные покойники — или их духи — вынуждены будут тащить свои надгробия с собой в Судный день? Неужели считаете это действительно необходимым?

— А для чего же тогда эти камни ставят, скажите на милость, барышня!

— Полагаю, чтобы порадовать родственников.

— Чтобы порадовать родственников, полагаете! — произнёс он с нескрываемым презрением. — Много ли радости родственникам знать, что над покойным написана ложь, да ещё всякому в округе известно, что это ложь? — Он указал на плиту у наших ног, положенную плашмя у самого края обрыва, служившую основанием для скамьи. — Прочтите-ка ложь на этой плите, — сказал он. Буквы были перевёрнуты относительно моего места, но Люси сидела прямо напротив и, наклонившись, прочла:

«Священной памяти Джорджа Кэннона, скончавшегося в надежде на славное воскресение 29 июля 1873 года, упав со скал у Кеттлнесса. Памятник воздвигнут скорбящей матерью её горячо любимому сыну. „Он был единственным сыном своей матери, а она была вдовой“».

— Право же, мистер Суэйлс, не вижу здесь ничего забавного! — произнесла она с полной серьёзностью, даже некоторой строгостью.

— Ничего забавного не видите! Ха-ха! Да оттого лишь, что невдомёк вам: скорбящая эта мать была настоящей ведьмой, ненавидевшей сына за то, что тот уродился калекой — сущим хромоножкой; а он в ответ ненавидел её настолько, что покончил с собой, дабы не досталась ей страховка, что оформила на его жизнь. Снёс себе едва не полголовы из старого мушкета, коим ворон пугали. Только не ворон он в тот раз спугнул, а мух да ос слетелось на него после. Вот так и свалился со скал. А что до надежды на славное воскресение — сам не раз слышал от него, как надеется он попасть в ад, ведь мать его была настолько благочестива, что уж наверняка угодит в рай, а попадать туда же, где она, вовсе не желал. Так разве не сплошная ложь этот камень, спрошу я вас? — он постучал по плите тростью. — То-то будет потеха самому архангелу Гавриилу, когда Джорди запыхавшись поднимется по ступеням с надгробием на горбу, требуя принять его в качестве доказательства!

Не найдя что ответить, я промолчала, но Люси перевела разговор, поднимаясь на ноги:

— Ах, зачем вы нам это рассказали? Это моё любимое место, а теперь придётся сидеть прямо над могилой самоубийцы!

— Не повредит вам это, милая моя; глядишь, бедняге Джорди только в радость будет такая хорошенькая девица у него на коленях посидеть. Вреда никакого. Да я сам здесь почитаю двадцать лет то и дело сижу, и никакого вреда не приключилось. Не тревожьтесь о тех, кто под вами лежит — или вовсе не лежит там! Вот когда увидите, как все надгробия разбегутся прочь, а место опустеет, точно жнивье после жатвы, — тогда самое время пугаться. Вон уже и часы бьют, пора мне. Моё почтение, дамы! — и заковылял прочь.

Мы с Люси посидели ещё немного, любуясь открывшейся красотой, взявшись за руки; она снова принялась рассказывать про Артура и предстоящую свадьбу. Отчего-то на душе от этого сделалось немного тоскливо — целый месяц от Джонатана ни весточки.

В тот же день. Поднялась сюда одна — очень уж тоскливо на душе. Письма для меня не оказалось. Надеюсь, с Джонатаном ничего не случилось. Часы только что пробили девять. Видны рассыпанные по всему городу огоньки — где-то рядами, где улицы, где поодиночке; тянутся вверх вдоль Эска и теряются в изгибе долины. Слева обзор обрывает чёрная линия крыши старого дома рядом с аббатством. Где-то позади, на полях, блеют овцы с ягнятами, а внизу, по мощёной дороге, раздаётся цокот ослиных копыт. На пирсе играет оркестр резковатый вальс в ровном темпе, а чуть дальше по набережной, в переулке, проходит собрание Армии спасения. Оркестры друг друга не слышат, но отсюда, сверху, слышны оба разом. Интересно, где сейчас Джонатан и думает ли обо мне! Как хотелось бы, чтобы он оказался здесь.

Дневник доктора Сьюарда

5 июня. — Случай Ренфилда становится всё занимательнее по мере того, как удаётся лучше понять этого человека. У него весьма ярко развиты определённые качества: себялюбие, скрытность, целеустремлённость. Хотелось бы разобраться, в чём именно состоит цель последнего качества. Судя по всему, имеется какой-то определённый, продуманный план, но какой именно — пока остаётся загадкой. Искушающая черта его натуры — любовь к животным, хотя проявляется она порой настолько причудливо, что порой закрадывается подозрение: не просто ли это аномальная жестокость. Питомцы у него самые необычные. Сейчас всецело поглощён ловлей мух, накопив их такое количество, что пришлось сделать замечание. К удивлению, вспышки ярости, ожидаемой прежде, не последовало — он воспринял вопрос с полной серьёзностью. Немного подумав, спросил: «Дадите три дня? Уберу их все». Разумеется, согласие было дано. Необходимо продолжать наблюдение.

18 июня. — Внимание переключилось теперь на пауков — в коробке уже содержится несколько весьма крупных экземпляров. Продолжает кормить их мухами, число которых заметно убывает, хотя половину собственного пайка он тратит на приманивание новых мух в комнату.

1 июля. — Пауки теперь доставляют не меньше хлопот, чем прежде мухи, и сегодня пришлось потребовать избавиться от них. Известие это весьма опечалило, так что пришлось смягчить требование — хотя бы часть сократить. Согласился с радостью, получив прежний срок на сокращение поголовья. Крайне неприятное зрелище довелось наблюдать в его присутствии: в комнату влетела омерзительная жирная падальная муха, разжиревшая на какой-то падали, — он поймал её, торжествующе подержал несколько мгновений между пальцами и, прежде чем удалось помешать, отправил прямиком в рот и съел. Последовал выговор, на что он спокойно возразил: муха, дескать, весьма вкусна и полезна — в ней жизнь, сильная жизнь, дающая жизнь и ему самому. Мысль эта — или, вернее, её зачаток — засела в голове крепко. Нужно проследить, как именно он избавится от пауков. Судя по всему, в голове его зреет некая серьёзная проблема — он постоянно ведёт записную книжку, делая туда пометки. Целые страницы заполнены цифрами, обычно отдельными числами, суммируемыми неболь-

шими группами, а затем итоги вновь складываются — точь-в-точь как ревизор, «подбивающий баланс», по выражению счетоводов.

8 июля. — В его безумии есть своя система, а зачаточная мысль в собственной голове всё разрастается. Скоро оформится в полноценную идею, и тогда, о бессознательное мышление, придётся уступить дорогу твоему сознательному собрату! Несколько дней держался в стороне от своего подопечного, дабы уловить возможные перемены. Всё осталось по-прежнему, разве что расстался с частью питомцев, обзаведясь новым. Удалось раздобыть воробья, уже частично приручённого. Способ приручения прост — количество пауков уже заметно уменьшилось. Оставшихся, впрочем, кормит на славу, по-прежнему приманивая мух собственным пайком.

19 июля. — Дело продвигается. У подопечного теперь целая колония воробьёв, а мухи с пауками почти полностью извелись. При появлении он бросился навстречу, прося о великом одолжении — величайшем из возможных, — заискивая, точно собака. На вопрос о сути просьбы последовал ответ, произнесённый почти в экстазе:

— Котёнка, милого маленького гладкого игривого котёнка, чтобы играть с ним, учить его, кормить — кормить — кормить!

Просьба эта не застала врасплох — давно уже замечено, как питомцы его растут в размерах и живости, — но лишаться прелестного семейства ручных воробьёв тем же манером, что мух и пауков, вовсе не хотелось; потому был дан уклончивый ответ с вопросом, не предпочтёт ли он взрослую кошку котёнку. Нескрываемое волнение выдало его с головой:

— О да, кошку бы хотелось куда больше! Просил-то котёнка лишь на случай отказа в кошке. Ведь в котёнке никто не откажет, правда?

Последовало покачивание головой с сожалением о невозможности исполнить просьбу немедленно, хотя обещание подумать над этим прозвучало. Лицо его омрачилось, в глазах мелькнуло нечто угрожающее — внезапный яростный, косой взгляд, явно предвещавший убийство. Этот человек — несостоявшийся маньяк-убийца. Стоит проверить его нынешней страстью и посмотреть, куда это приведёт — тогда многое прояснится.

22:00. — Вновь посетил его — застал сидящим в углу, погружённым в мрачные раздумья. При появлении он бросился на колени, умоляя дать ему кошку — от этого, дескать, зависит само его спасение. Пришлось проявить твёрдость и отказать, после чего он молча удалился и сел в тот же угол, грызя пальцы. Загляну к нему рано утром.

20 июля. — Навестил Ренфилда совсем рано, прежде чем санитар начал обход. Застал на ногах, что-то напевающим. Раскладывал на подоконнике припасённый сахар, явно вновь принимаясь за ловлю мух — притом весело, с явным удовольствием. Оглядевшись в поисках птиц и не найдя их, спросил, куда они делись. Не оборачиваясь, ответил: все улетели. По комнате разбросано несколько перьев, а на подушке — капля крови. Ничего не сказав, отправился распорядиться, чтобы санитар доложил о любых странностях в течение дня.

11:00. — Санитар только что докладывал, что Ренфилда сильно тошнило, вырвало целой кучей перьев. «Полагаю, доктор, — сказал он, — что он съел собственных птиц, притом прямо сырыми!»

23:00. — Дал Ренфилду сегодня сильное снотворное — достаточно, чтобы усыпить даже его, — а сам забрал записную книжку для изучения. Мысль, давно роящаяся в голове, обрела окончательную форму, теория подтвердилась. Маниакальная склонность к убийству у него совершенно особого рода — придётся изобрести новую классификацию, назвав это зоофагическим (пожирающим жизнь) безумием: цель его состоит в поглощении как можно большего числа жизней, притом кумулятивным путём. Множество мух скормлено одному пауку, множество пауков — одной птице, теперь требуется кошка, чтобы поглотить множество птиц. Каков был бы следующий шаг? Пожалуй, стоило бы довести эксперимент до конца хотя бы из чистого любопытства. Осуществимо, найдись только достаточно веская причина. Над виви-

секцией насмеялись, а взгляните на её сегодняшние плоды! Отчего бы не продвинуть науку в самой трудной, самой жизненно важной её области — познании мозга? Обладай ключом хотя бы к одному подобному разуму, тайной хотя бы одного безумца — можно было бы продвинуть собственную отрасль науки до такой степени, что физиология Бердон-Сандерсона или познания о мозге Ферье показались бы пустяком в сравнении. Найдись лишь достаточная причина! Не стоит слишком задумываться об этом — соблазн может оказаться велик; достойная причина способна склонить чашу весов, ведь не исключено, что и собственный мозг от природы отличается некоторой исключительностью.

Как здраво рассуждает этот человек — безумцы всегда логичны в рамках собственной системы. Интересно, во сколько жизней он оценивает человека — быть может, лишь в одну? Счёт закрыт с поразительной точностью, и сегодня начинается новая запись. Многие ли из нас начинают новую запись с каждым прожитым днём?

Кажется, будто лишь вчера собственная жизнь оборвалась вместе с угасшей надеждой, и поистине началась новая запись. Так будет продолжаться, куда Великий Летописец не подведёт итог, закрыв мой счёт с прибылью или убытком. О, Люси, Люси, не могу на тебя сердиться, не могу сердиться и на друга, чьё счастье теперь составляешь ты; остаётся лишь безнадежно ждать да трудиться. Работа! Работа!

Обладай хотя бы той же силой побуждения, что мой бедный безумный друг там, за стеной, — достойной, бескорыстной причиной, побуждающей к труду, — вот в чём заключалось бы подлинное счастье.

Дневник Мины Мюррей

26 июля. — Тревога не отпускает, а изложение мыслей здесь приносит некоторое облегчение — точно шепчешь самой себе, одновременно прислушиваясь к собственным словам. Есть нечто особое и в самих стенографических значках, отличающее подобную запись от обычного письма. Тревожусь о Люси и о Джонатане. Долгое время от Джонатана не было ни весточки, что вызывало немалое беспокойство, но вчера добрый мистер Хокинс, неизменно столь внимательный, прислал полученное от него письмо. Я писала ему с вопросом, нет ли вестей, и он ответил, что как раз получил приложенное послание. Всего лишь строчка, датированная замком Дракулы, — сообщение о скором отправлении домой. Это вовсе не похоже на Джонатана; смысл ускользает, вызывая беспокойство. К тому же Люси, при всём видимом благополучии, вновь взялась за старую привычку — хождение во сне. Мать поделилась этим наблюдением, и мы решили запира́ть дверь нашей комнаты на ночь. У миссис Вестенра сложилось убеждение, будто лунатики неизменно выходят на крыши домов да по краям обрывов, а затем внезапно просыпаются и падают вниз с отчаянным криком, эхом разносящимся по всей округе. Бедняжка, конечно, тревожится за Люси не без причины — как она рассказывает, у отца Люси, её собственного мужа, была та же привычка: вставал по ночам, одевался и выходил, не удерживая его вовремя. Люси предстоит осенняя свадьба, и она уже всю обдумывает наряды да обстановку будущего дома. Понимаю её вполне — сама поступаю так же, разве что нам с Джонатаном предстоит начинать жизнь весьма скромно, изо всех сил сводя концы с концами. Мистер Холмвуд — почтенный Артур Холмвуд, единственный сын лорда Годалминга — вот-вот должен приехать сюда, как только сумеет вырваться из города: отец его не совсем здоров, — и, кажется, милая Люси считает буквально каждую минуту до его приезда. Хочет ответить его на ту самую скамью на кладбищенском утёсе и показать всю красоту Уитби. Полагаю, именно ожидание тревожит её сейчас — с его приездом всё непременно наладится.

27 июля. — От Джонатана по-прежнему ни весточки. Беспокойство нарастает, хотя причины назвать затруднительно; но так хочется получить хотя бы одну строчку. Люси теперь бродит по ночам чаще прежнего, и каждую ночь будит меня своим движением по комнате. По счастью, погода настолько тёплая, что простудиться она не рискует; однако постоянная тревога и вечные пробуждения начинают сказываться и на моих собственных нервах — сама становлюсь

беспокойной и плохо сплю. Слава Богу, здоровье Люси не страдает. Мистер Холмвуд внезапно вызван в Ринг, к заболевшему отцу. Люси досадует на отсрочку встречи, но на внешности это не отражается — она даже немного округлилась, а щёки приобрели прелестный розовый оттенок, прежняя бледность совершенно исчезла. Молю Бога, чтобы это продлилось.

3 августа. — Минула ещё неделя, а от Джонатана по-прежнему ни весточки — даже мистеру Хокинсу, с которым удалось переговорить, ничего не известно. О, как хочется верить, что он не болен! Он непременно написал бы. Перечитываю то последнее письмо, но что-то в нём не даёт покоя. Звучит вовсе не похоже на него самого, хотя почерк несомненно его — тут не ошибиться. Люси в последнюю неделю бродит во сне не так часто, но появилась в ней некая странная сосредоточенность, смысла которой не удаётся уловить; даже во сне кажется, будто она наблюдает за мной. Пробует дверь, а найдя запертой, обыскивает всю комнату в поисках ключа.

6 августа. — Прошло ещё три дня — по-прежнему никаких вестей. Незнание становится поистине невыносимой. Знай хотя бы, куда писать или куда отправиться, стало бы легче; но никто ничего не слышал о Джонатане с того самого последнего письма. Остаётся лишь молить Бога о терпении. Люси возбуждена сильнее прежнего, но в остальном чувствует себя хорошо. Прошлая ночь выдалась угрожающей, рыбаки предвещают близкую бурю. Постараюсь понаблюдать за приметами погоды. Сегодня день серый, солнце, покуда пишутся эти строки, скрыто плотными тучами высоко над Кеттлнессом. Всё вокруг серо — кроме зелёной травы, кажущейся изумрудом среди этой серости; серые скалистые земли, серые тучи, тронутые редким солнечным просветом по дальнему краю, нависают над серым морем, куда песчаные косы тянутся, точно серые пальцы. Море с рёвом накатывает на отмели и песчаные банки, приглушённым гулом сквозь дрейфующий к суше морской туман. Горизонт теряется в серой дымке. Всюду ощущение необъятности; тучи гроздятся, точно исполинские скалы, а над морем стоит глухой гул, будто предвестие неминуемой беды. Тёмные фигуры мелькают там и сям на берегу, порой наполовину укрытые туманом, — точь-в-точь «люди, подобные шагающим деревьям». Рыбачьи лодки спешат к дому, ныряя и вздымаясь на волне зыби, входя в гавань, накренившись до самых шпигатов. А вот и старый мистер Суэйлс — направляется прямо ко мне, и по тому, как приподнимает шляпу, ясно: хочет поговорить...

Перемена в облике бедного старика тронула до глубины души. Усевшись рядом, он произнёс мягко, почти нежно:

— Хочу сказать вам кое-что, барышня.

Заметив его смущение, я взяла старую морщинистую руку в свою и попросила говорить прямо; тогда он произнёс, не отнимая руки:

— Боюсь, милая моя, шокировал я вас всеми теми злыми словами, что говорил про покойников да про всякое такое эти недели напролёт; да только не всерьёз я это, и хочу, чтоб вы помнили об этом, когда меня не станет. Мы, старики, что уж совсем одряхлели, одной ногой в могиле стоя, не больно-то любим об этом думать, да и пугаться не желаем; вот и взялся я над этим шутить, чтобы самого себя немного подбодрить. Но, видит Бог, барышня, вовсе я не боюсь смерти, ни капельки; только вот помирать пока не хочется, коли можно того избежать. Срок мой, видать, уже близок — стар я стал, а сотня лет — многовато для любого человека; и так уж близко подошёл, что Старик уже точит свою косу. Вот только не могу разом отучиться болтать об этом — челюсти сами по привычке движутся. Скоро уж Ангел Смерти протрубит по мне в свою трубу. Только не убивайтесь, милая моя, — заметил он мои слёзы, — коли явится он этой самой ночью — не откажусь ответить на его зов. Ведь жизнь-то, в конце концов, лишь ожидание чего-то иного, чем то, чем мы сейчас заняты; а смерть — единственное, на что можно по-настоящему положиться. Но я доволен — идёт она ко мне, милая моя, идёт быстро. Может, идёт уже, покуда мы тут смотрим да гадаем. Может, она в том самом ветре над морем, что несёт с собой утрату да крушение, тяжкую скорбь да печальные сердца. Смотрите! Смотрите!

— вскричал он внезапно. — Что-то есть в этом ветре, да в гуле том за морем, что звучит, и выглядит, и на вкус, и на запах — точь-в-точь смерть. Она в самом воздухе; чувствую, как приближается. Господи, дай мне ответить весело, когда придёт мой черёд!

Он благоговейно воздел руки и приподнял шляпу. Губы его двигались, точно в молитве. После недолгого молчания он поднялся, пожал мне руку, благословил, попрощался и заковылял прочь. Всё это глубоко тронуло, оставив тяжёлый осадок на душе.

Обрадовалась появлению береговой охраны с подзорной трубой под мышкой. Он остановился поболтать, как обычно, но при этом не сводил взгляда с какого-то странного корабля.

— Не разберу, что за судно, — сказал он, — по виду русское; да только болтается как-то чудно. Будто сам не знает, чего хочет; вроде видит бурю, что приближается, а никак не решит — то ли на север в открытое море уйти, то ли сюда завернуть. Глядите-ка ещё раз! Управляется преудивительно — руля будто не слушается вовсе, меняет курс с каждым порывом ветра. Ещё услышим о нём до завтрашнего этого же часа.

ГЛАВА VII

ВЫРЕЗКА ИЗ ГАЗЕТЫ «ДЕЙЛИГРАФ» ОТ 8 АВГУСТА

(вклеена в дневник Мины Мюррей)

От нашего корреспондента Уитби.

Одна из самых сильных и внезапных бурь на памяти здешних жителей разразилась только что, обернувшись событием поистине необычайным и странным. Погода стояла несколько душноватая, хотя вполне обычная для августа. Субботний вечер выдался ясным на удивление, и целые толпы отдыхающих отправились накануне в Малгрейв-Вудс, Робин-Гуд-Бей, Риг-Милл, Ранзвик, Стейтс да прочие окрестности Уитби. Пароходы «Эмма» и «Скарборо» курсировали вдоль побережья, а между Уитби и окрестностями наблюдалось необычайное оживление прогулочных экскурсий. День оставался ясным вплоть до полудня, когда завсегдатаи кладбища на Восточном утёсе, откуда открывается широкий обзор на море к северу и востоку, обратили внимание на внезапное появление высоко в небе, к северо-западу, так называемых «кобыльих хвостов» — характерных перистых облаков. Ветер в тот момент дул с юго-запада умеренно, что на барометрическом языке значится как «№ 2: лёгкий бриз». Дежурный береговой страж тотчас доложил о наблюдении, а один старый рыбак, более полувека следивший за погодными приметами с высоты Восточного утёса, решительно предрёк близкую бурю. Закат выдался настолько прекрасным, настолько величественным нагромождением роскошно окрашенных туч, что на прогулочной дорожке вдоль обрыва, на старом кладбище, собралась немалая толпа полюбоваться этой красотой. Прежде чем солнце скрылось за чёрной громадой Кеттлнесса, смело вырисовывающейся на фоне западного неба, его закатный путь отмечился мириадами облаков всех закатных оттенков — пламенных, пурпурных, розовых, зелёных, фиолетовых и всех оттенков золота, — среди которых кое-где выделялись небольшие, но абсолютно чёрные массы самых причудливых очертаний, вырисовывавшиеся, точно исполнинские силуэты. Зрелище это не осталось незамеченным художниками, и без сомнения, кое-какие наброски под названием «Прелюдия к великой буре» украсят стены Королевской академии да Королевского акварельного общества в мае будущего года. Не один шкипер тогда же решил оставить свой «кобл» или «мул» — так здесь именуют разные типы лодок — в гавани, покуда буря не минует. Ветер полностью стих к вечеру, а к полуночи установился полнейший штиль, душная жара и та особая гнетущая тяжесть, что перед грозой действует на людей особо чувствительной натуры. На море виднелось совсем немного огней — даже прибрежные пароходы, обычно жмущиеся к самому берегу, держались подальше в открытом море, да и рыбацких лодок почти не наблюдалось. Единственным заметным парусом оставалась иностранная шхуна под всеми парусами, шедшая, судя по всему, на запад. Безрассудство либо неосведомлённость её экипажа стали излюбленной темой пересудов, покуда судно оставалось в поле зрения, а к нему даже пытались подать сигналы убавить паруса ввиду опасности. Перед наступлением темноты её видели с бессильно обвисшими парусами, мягко покачивающейся на пологой зыби —

«праздной, точно расписной корабль в расписном океане».

Незадолго до десяти часов вечерняя тишь сделалась почти гнетущей, а безмолвие оказалось столь явственным, что отчётливо доносилось блеяние овец где-то в глубине суши да лай собаки в городе, а оркестр на пирсе с его бодрым французским мотивом казался фальшивой нотой на фоне великой гармонии природного безмолвия. Вскоре после полуночи с моря донёсся странный звук, а высоко над головой в воздухе поплыл странный, приглушённый, глухой гул.

Затем, без всякого предупреждения, разразилась буря. С быстротой, казавшейся тогда невероятной и остающейся необъяснимой по сей день, весь облик природы разом преобразился

в неистовую судорогу. Волны вздымались всё яростнее, одна выше другой, покуда за считанные минуты недавно зеркальное море не превратилось в ревущее, всепожирающее чудовище. Пенные валы бешено обрушивались на пологие пляжи, взбираясь по откосам утёсов; другие перехлёстывали через мола, окатывая пеной фонари маяков, вздымающихся на концах обоих пирсов Уитбийской гавани. Ветер ревел, точно гром, дуя с такой силой, что даже крепким мужчинам с трудом удавалось удержаться на ногах или цепляться мёртвой хваткой за железные стойки. Пришлось расчищать оба мола от толпы зевак, иначе жертв этой ночи оказалось бы куда больше. В довершение всех опасностей с моря напозли клубы морского тумана — белые, влажные облака, пронесившиеся призрачной пеленой, настолько сырые и холодные, что не требовалось особого усилия воображения, дабы вообразить, будто духи погибших в море касаются живых собратьев липкими мертвенными пальцами, — и не один зритель содрогался, когда мимо проплывали эти клочья морской мглы. Порой туман рассеивался, и на некотором расстоянии открывался вид на море в свете молний, сверкавших теперь всё чаще и гуще, за которыми следовали столь внезапные раскаты грома, что, казалось, всё небо содрогается под тяжёлой поступью самой бури.

Иные открывавшиеся при этом картины отличались поистине неизмеримым величием, приковывая взгляд: море, вздымавшееся горами, с каждой волной вздымало к небесам огромные массы белой пены, которую буря словно выхватывала и уносила прочь; там и сям мелькала рыбацкая лодка под жалким обрывком паруса, отчаянно спешащая укрыться от шквала; порой мелькали белые крылья морской птицы, гонимой бурей. На вершине Восточного утёса новый прожектор был готов к первому испытанию, хотя опробовать его прежде не доводилось. Обслуживающие его сотрудники наладили прибор, и в паузах между наплывами тумана обшаривали лучом морскую гладь. Раз или два его помощь оказалась поистине неоценимой — так, рыбацкая лодка, черпающая бортом воду, сумела, ведомая спасительным лучом, войти в гавань, избегнув удара о мола. Каждая благополучно вошедшая лодка встречалась радостным криком собравшейся на берегу толпы — криком, на миг словно рассекавшим бурю, прежде чем его сметало прочь неистовым порывом.

Вскоре прожектор обнаружил на некотором расстоянии шхуну под всеми парусами — по всей видимости, то самое судно, замеченное ещё вечером. Ветер к тому времени переменился на восточный, и по толпе наблюдателей на утёсе прошёл трепет ужаса, стоило осознать всю чудовищность нависшей над судном опасности. Между ним и портом лежал огромный плоский риф, на котором за долгие годы не раз гибли добрые корабли, а при нынешнем направлении ветра судну решительно не было никакой возможности достичь входа в гавань. Час прилива уже почти настал, но волны были столь исполинскими, что в их ложбинах почти проглядывали прибрежные отмели, а шхуна под всеми парусами неслась с такой стремительностью, что, по словам одного старого морского волка, «пристанет она хоть где-нибудь, даже если то будет самый ад». Тут накатила новая волна морского тумана, гуще всех прежних, — плотная сырая мгла, окутавшая всё вокруг серым саваном, оставив людям в помощь лишь один слух, ведь рёв бури, грохот грома и гул исполинских валов доносились сквозь эту влажную пелену забвения даже громче прежнего. Луч прожектора неотрывно держали направленным на вход в гавань напротив Восточного мола, где ожидался роковой удар, и люди застыли, затаив дыхание. Внезапно ветер сменился на северо-восточный, и остатки морского тумана растаяли под порывом шквала; и тогда — *mirabile dictu* — между молами, перескакивая с волны на волну в отчаянном стремительном броске, влетела та самая странная шхуна, гонимая ветром, под всеми парусами, и обрела безопасность гавани. Луч прожектора последовал за ней, и по толпе наблюдателей прошла дрожь: у штурвала оказался привязан труп, с поникшей головой, ужасающе раскачивающейся из стороны в сторону при каждом движении судна. Никакой иной фигуры на палубе не наблюдалось вовсе. Всеми овладел благоговейный ужас при мысли, что судно, будто по чуду, нашло путь в гавань, не управляемое никем, кроме мёртвой руки! Впрочем, всё это произо-

шло куда быстрее, чем требуется времени на описание. Шхуна не замедлила хода, а пронеслась через всю гавань и врезалась в песчано-галечную отмель, намытую многолетними приливами и штормами в юго-восточном углу мола, выступающего под Восточным утёсом, — местные называют его Тейт-Хилл-Пирс.

Разумеется, при ударе о песчаную отмель последовало изрядное сотрясение. Каждый рангоутный брус, каждый трос и штаг натянулись до предела, а часть верхнего рангоута с грохотом рухнула вниз. Но самым удивительным оказалось иное: в самый момент касания берега на палубе, будто выброшенный самим толчком, вдруг появился из трюма огромный пёс и, стремглав бросившись вперёд, прыгнул с носа судна прямо на песок. Устремившись напрямик к крутому обрыву, где кладбище нависает над проулком к Восточному пирсу настолько круто, что некоторые плоские надгробия — «трафф-стины», или «сквозные камни», как их называют на уитбийском диалекте, — буквально выступают над обвалившейся частью подпирающего утёса, — животное скрылось во тьме, показавшейся ещё гуще сразу за пределами луча прожектора.

Так случилось, что в тот момент на Тейт-Хилл-Пирс не оказалось ни единой души — все обитатели соседних домов либо спали, либо наблюдали за происходящим с возвышенности. Потому дежурный береговой страж с восточной стороны гавани, тотчас сбежавший к небольшому пирсу, первым взобрался на борт. Люди, обслуживавшие прожектор, тщательно обшарив вход в гавань и никого не обнаружив, направили луч на брошенное судно, удерживая его там. Страж побежал на корму и, подойдя к штурвалу, склонился для осмотра — и тотчас отпрянул, будто охваченный внезапным потрясением. Это лишь подстегнуло всеобщее любопытство, и немало народу устремилось туда бегом. Путь от Западного утёса через разводной мост до Тейт-Хилл-Пирс довольно долог, но вашему корреспонденту, недурному бегуну, удалось значительно опередить толпу. По прибытии, однако, обнаружилось: на пирсе уже собралась толпа, которую страж и полиция не пускали на борт. По любезности старшего боцмана мне, как представителю печати, дозволили подняться на палубу, оказавшись в числе немногих, кто увидел мёртвого моряка, всё ещё привязанного к штурвалу.

Немудрено, что зрелище это поразило и даже устрасило берегового стража — подобное доводится наблюдать нечасто. Руки погибшего были попросту связаны, одна поверх другой, вокруг одной из спиц штурвала. Между внутренней рукой и деревом оказалось зажато распятие, чьи чётки обвивали оба запястья и сам штурвал разом, надёжно удерживаемые верёвками. Быть может, поначалу несчастный сидел, но хлопанье и удары парусов, передававшиеся через руль на штурвал, раскачивали тело туда-сюда, так что верёвки прорезали плоть до самой кости. Все обстоятельства были тщательно зафиксированы, а прибывший вскоре после меня врач — хирург Дж. М. Каффин с Ист-Эллиот-плейс, 33 — по осмотре заявил, что смерть наступила никак не менее двух суток назад. В кармане обнаружилась тщательно закупоренная бутылка, пустая, если не считать небольшого свитка бумаги, оказавшегося дополнением к судовому журналу. Страж высказал предположение, что покойный сам связал себе руки, затягивая узлы зубами. То обстоятельство, что первым на борт поднялся именно береговой страж, возможно, избавит от дальнейших осложнений в Адмиралтейском суде, поскольку стражи не вправе претендовать на вознаграждение за спасение имущества, полагающееся первому гражданскому лицу, ступившему на борт брошенного судна. Впрочем, уже сейчас юридические языки не умолкают: некий молодой студент-правовед громко заявляет, будто права владельца уже полностью утрачены, поскольку его собственность удерживается в нарушение статута о мёртвой руке — ведь румпель, как символ, если не доказательство, делегированного владения, удерживается именно мёртвой рукой. Нет нужды упоминать, что тело покойного рулевого было благоговейно вынесено с того места, где он нёс свою почётную вахту вплоть до самой смерти — верность, достойная юного Казабьянки, — и перенесено в морг в ожидании дознания.

Внезапная буря уже стихает, её ярость идёт на убыль; толпы расходятся по домам, а небо над йоркширскими нагорьями начинает окрашиваться рассветным багрянцем. К следующему

номеру постараюсь прислать дальнейшие подробности о брошенном судне, столь чудесным образом обретшем путь в гавань посреди бури.

Уитби.

9 августа. — Продолжение истории со странным появлением брошенного судна прошлой ночью оказывается едва ли не более поразительным, чем само происшествие. Выясняется, что шхуна — российская, из Варны, по названию «Деметра». Груз её состоит почти целиком из балласта серебристого песка, лишь с небольшим количеством товара — рядом крупных деревянных ящиков, наполненных землёй. Груз этот адресован уитбийскому стряпчему, мистеру С. Ф. Биллингтону, проживающему на Кресент, 7, который нынче утром поднялся на борт и формально вступил во владение адресованным ему товаром. Российский консул, действуя от лица фрахтователя, также формально принял судно, оплатив все портовые сборы. Ни о чём другом сегодня не говорят, кроме этого удивительного совпадения; чиновники Министерства торговли проявили особую придирчивость в соблюдении всех действующих правил. Похоже, они твёрдо намерены не оставить повода для позднейших жалоб, коль скоро дело обещает стать сенсацией на добрую неделю. Немалый интерес вызвала судьба пса, сбежавшего с судна в момент столкновения, и немало членов местного Общества защиты животных, весьма активного в Уитби, пытались приютить животное. К всеобщему разочарованию, однако, отыскать его не удалось — похоже, оно бесследно исчезло из города. Возможно, испугавшись, пёс скрылся на пустошах, где до сих пор прячется в ужасе. Находятся и такие, кто с тревогой смотрит на подобную возможность, опасаясь, что впоследствии зверь сам может стать источником опасности, ведь, судя по всему, отличается свирепым нравом. Ранним утром крупный пёс, полукровный мастиф, принадлежавший угольному торговцу неподалёку от Тейт-Хилл-Пирс, был найден мёртвым на дороге напротив хозяйского двора. Судя по всему, он вступил в схватку с не менее свирепым противником — горло его оказалось разодрано, а брюхо вспорото, точно свирепым когтем.

Позднее. — По любезности инспектора Министерства торговли мне позволили ознакомиться с судовым журналом «Деметры», исправно веденным вплоть до последних трёх суток, не содержащим, впрочем, ничего особо примечательного, кроме фактов об исчезновении членов экипажа. Однако наибольший интерес представляет бумага, найденная в бутылке и предъявленная сегодня на дознании; более странного повествования, чем открывшееся из этих двух источников вместе взятых, мне ещё не доводилось встречать. Поскольку скрывать здесь нечего, мне дозволено воспользоваться этими материалами, а потому прилагаю их изложение, опустив лишь технические подробности мореходства и грузового дела. Складывается почти полное впечатление, будто капитан был охвачен неким помешательством ещё до выхода в открытое море, и недуг этот неуклонно прогрессировал на протяжении всего плавания. Разумеется, изложение это следует воспринимать с известной долей осторожности, поскольку записано со слов секретаря российского консула, любезно взявшегося за перевод в условиях крайней нехватки времени.

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ «ДЕМЕТРЫ»

Из Варны в Уитби

Написано **18 июля**. Происходят вещи столь странные, что отныне буду вести точные записи вплоть до самого прибытия на берег.

6 июля закончили погрузку — серебристый песок и ящики с землёй. В полдень вышли в море. Ветер восточный, свежий. Экипаж — пять человек... два помощника, кок и я сам (капитан).

11 июля, на рассвете, вошли в Босфор. На борт поднялись турецкие таможенники. Бакшиш. Всё в порядке. Снялись с якоря в четыре пополудни.

12 июля прошли Дарданеллы. Ещё таможенники да сторожевое судно охранной эскадры. Снова бакшиш. Работали чиновники тщательно, но быстро. Явно спешили от нас избавиться. С наступлением темноты вошли в Архипелаг.

13 июля миновали мыс Матапан. Экипаж чем-то недоволен. Кажутся испуганными, но объясняться не желают.

14 июля некоторое беспокойство за экипаж. Все люди надёжные, не раз плававшие со мной прежде. Помощник не может понять, в чём дело — говорят лишь, что «что-то не так», да крестятся. В тот же день помощник вышел из себя, ударил одного. Ожидал крупной ссоры, но всё обошлось тихо.

16 июля помощник доложил утром, что пропал один из экипажа, Петровский. Объяснения найти не удалось. Стоял вахту на левом борту до восьми склянок прошлой ночью; сменил его Абрамов, но тот в койку не пошёл. Люди мрачнее прежнего. Все говорят, будто ожидали чего-то подобного, но добавить ничего не желают, кроме того, что «на борту что-то есть». Помощник крайне нетерпелив с ними; опасаясь серьёзных неприятностей впереди.

17 июля, вчера, один из матросов, Ольгарен, явился ко мне в каюту и с явным трепетом признался, что на судне, по его мнению, находится некий странный человек. Рассказал, что во время своей вахты укрывался за рубкой от дождя, когда заметил высокого, худого человека, вовсе не похожего ни на кого из экипажа, поднявшегося по сходному трапу, прошедшего вперёд по палубе и скрывшегося из виду. Осторожно последовал за ним, но, добравшись до носа, никого не обнаружил, а все люки оказались задраены. Пребывает в паническом суеверном страхе, и боюсь, паника эта может распространиться. Дабы её унять, сегодня же тщательно обыщу всё судно от носа до кормы.

Позднее в тот же день собрал весь экипаж и объявил: раз уж они уверены, будто на судне кто-то есть, обыщем всё от носа до кормы. Старший помощник рассердился, назвал это глупостью, заявив, что уступка подобным нелепым фантазиям лишь деморализует людей; пообещал, впрочем, сам разбираться с любыми беспорядками при помощи вымбовки. Оставил его у штурвала, покуда остальные вели тщательный обыск, держась рядом с фонарями: не оставили без внимания ни единого закоулка. Поскольку в трюме находились лишь большие деревянные ящики, укромных мест для человека попросту не нашлось бы. Люди заметно успокоились по окончании обыска, вернувшись к работе с прежней бодростью. Старший помощник хмурился, но промолчал.

22 июля. — Последние три дня скверная погода, все заняты парусами — не до страхов. Люди, похоже, забыли о прежнем ужасе. Помощник снова весел, отношения наладились. Похвалил экипаж за работу в непогоду. Прошли Гибралтар, вышли из пролива. Всё благополучно.

24 июля. — Похоже, над этим судном тяготеет какой-то рок. Уже недосчитались одного человека, а теперь, входя в Бискайский залив навстречу штормовой погоде, минувшей ночью потеряли ещё одного — исчез бесследно. Как и первый, ушёл со своей вахты и более не появлялся. Все люди в паническом страхе; подали коллективную просьбу о двойной вахте — боятся оставаться в одиночестве. Помощник в ярости. Опасаюсь беды — либо он, либо люди прибегнут к насилию.

28 июля. — Четыре дня сущего ада, мечемся точно в водовороте, ветер штормовой. Никто не спит. Люди совершенно измотаны. Едва хватает сил на вахту — никто уже не годен нести службу. Второй помощник вызвался сам стоять на руле, дав остальным несколько часов сна. Ветер стихает; море по-прежнему яростное, но заметно спокойнее — судно держится увереннее.

29 июля. — Новая трагедия. Нынешней ночью выставили одиночную вахту — экипаж слишком измотан для двойной. Утренняя смена, поднявшись на палубу, обнаружила лишь рулевого — более никого. Подняли тревогу, все высыпали на палубу. Тщательный обыск не

дал результата. Теперь без второго помощника, экипаж в панике. Договорились с помощником отныне ходить вооружёнными и ждать любых признаков причины происходящего.

30 июля. — Прошлой ночью. Радовались приближению к Англии. Погода ясная, все паруса подняты. Отошёл ко сну совершенно измотанным; спал крепко; разбужен помощником с известием — пропали и вахтенный, и рулевой одновременно. Из всего экипажа остались лишь я сам, помощник да двое матросов.

1 августа. — Второй день тумана, ни единого паруса на горизонте. Надеялся, войдя в Ла-Манш, подать сигнал о помощи или войти куда-нибудь в порт. Не имея сил работать с парусами, приходится идти по ветру. Убрать паруса не решаюсь — поднять их снова уже не сумеем. Похоже, дрейфуем навстречу какой-то страшной гибели. Помощник теперь деморализован сильнее самих матросов — его более сильная натура, похоже, обратилась против него самого. Люди же уже не боятся вовсе, работают равнодушно, терпеливо, смирившись с самым худшим. Они русские, он же румын.

2 августа, полночь. — Проснулся после нескольких минут сна от крика, донёсшегося, казалось, прямо из-за иллюминатора. В тумане ничего не разглядеть. Бросился на палубу, столкнулся с помощником. Тот сообщает — слышал крик, бросился на палубу, но вахтенного и след простыл. Ещё один пропал. Господи, помоги нам! Помощник уверяет, что мы уже миновали Дуврский пролив — в момент, когда туман на мгновение разошёлся, он заметил Норт-Форленд как раз в тот момент, когда услышал крик. Коли так, мы теперь в Северном море, и лишь Бог способен указать нам путь сквозь туман, что, кажется, движется вместе с нами; а Бог, похоже, оставил нас.

3 августа. — В полночь отправился сменить рулевого — но у штурвала никого не оказалось. Ветер держался ровно, и судно шло без рыскания. Не смея оставить руль без присмотра, закричал, зовя помощника. Спустя несколько мгновений тот выскочил на палубу в исподнем. Взгляд его был диким, измождённым — боюсь, рассудок его помутился окончательно. Приблизившись вплотную, он хрипло прошептал прямо в ухо, точно опасаясь, что сам воздух подслушает: «Оно здесь; теперь я это знаю точно. Прошлой ночью на вахте я видел Его — точно человек, высокий, худой, мертвенно бледный. Стоял на носу, всматриваясь вдаль. Подкрался сзади, ударил ножом — но нож прошёл насквозь, точно сквозь пустоту». Говоря это, он выхватил нож и яростно вонзил его в пустой воздух. Затем продолжил: «Но Оно здесь, и я его найду. Оно в трюме, возможно, в одном из тех ящиков. Вскрою их один за другим и проверю. А ты держи штурвал». И, бросив предостерегающий взгляд, приложив палец к губам, спустился вниз. Поднимался порывистый ветер, руль оставить не мог. Видел, как он снова вышел на палубу с ящиком инструментов и фонарём, спустился в носовой люк. Он безумен, совершенно, буйно безумен, и пытаться остановить его бесполезно. Большим ящикам он вреда не причинит: значатся они в накладной как «глина», а перекладывать их с места на место — занятие достаточно безобидное. Потому остаюсь здесь, у руля, веду эти записи. Остаётся уповать лишь на Бога да ждать, покуда туман не рассеется. Тогда, коли не удастся довести судно до порта при нынешнем ветре, уберу паруса, лягу в дрейф и подам сигнал бедствия...

Теперь уже почти всё кончено. Едва начал надеяться, что помощник вернётся в более спокойном состоянии духа — слышал, как он что-то отбивает в трюме, а работа ему на пользу, — как вдруг из люка донёсся внезапный, потрясённый вопль, от которого кровь застыла в жилах, а сам он выскочил на палубу, точно выстреленный из пушки, — буйнопомешанный, с закатившимися глазами и лицом, искажённым ужасом. «Спасите меня! Спасите!» — закричал он, а затем обвёл взглядом плотную пелену тумана. Ужас его сменился отчаянием, и уже спокойным голосом он произнёс: «Вам бы тоже пойти со мной, капитан, покуда не поздно. Оно там. Теперь я знаю тайну. Море спасёт меня от Него — это единственное, что остаётся!» Прежде чем удалось произнести хоть слово или броситься удерживать его, он прыгнул на фальшборт и намеренно бросился в море. Полагаю, теперь и мне известна эта тайна. Именно

этот безумец избавлялся от людей одного за другим, а теперь последовал за ними сам. Помогите мне Бог! Как объяснить все эти ужасы, добравшись до порта? Добравшись до порта! Да будет ли это вообще?

4 августа. — Туман по-прежнему держится, не пробиваемый даже восходом солнца. Знаю, что солнце взошло, поскольку сам моряк, — иначе откуда бы знать. Спуститься вниз не смею, оставить штурвал тоже; потому остаюсь здесь всю ночь напролёт, и в ночной мгле увидел Его — Оно! Прости меня Господи, но помощник поступил правильно, бросившись за борт. Лучше умереть как мужчина; умереть как моряк в открытом море — никто не вправе осудить. Но я капитан, и не смею покинуть своё судно. Однако одолею этого демона или чудовище: свяжу себе руки на штурвале, когда силы начнут иссякать, а вместе с ними привяжу и то, к чему Он — Оно! — не посмеет прикоснуться; и тогда, чтобы ни принёс ветер, попутный или встречный, спасу свою душу и капитанскую честь. Слабею всё сильнее, надвигается ночь. Коли Он снова взглянет мне в лицо, времени на действие может не остаться... Случись крушение — быть может, эту бутылку найдут, и нашедшие поймут; а нет — что ж, тогда все узнают хотя бы, что остался верен своему долгу. Да поможет Бог, Пресвятая Дева и святые бедной невежественной душе, старающейся исполнить свой долг...

Разумеется, вердикт вынесен открытый. Никаких улик не приведено; и совершил ли убийства сам этот человек — сказать теперь некому. Местные жители почти единодушно считают капитана истинным героем, и ему готовят публичные похороны. Уже решено: тело провезут вереницей лодок вверх по Эску, а затем доставят обратно к Тейт-Хилл-Пирс и вверх по ступеням аббатства, дабы похоронить на кладбище над утёсом. Владельцы более сотни лодок уже заявили о желании проводить его в последний путь.

Никаких следов огромного пса так и не обнаружено; по этому поводу немало сожалений, ведь при нынешнем настроении публики город, пожалуй, охотно взял бы его под опеку. Завтра состоятся похороны — на этом завершится ещё одна «загадка моря».

Дневник Миной Мюррей

8 августа. — Люси всю ночь провела крайне беспокойно, да и самой не удавалось уснуть. Буря бушевала пугающе, гулко грохоча среди печных труб, отчего пробирала дрожь. При особенно резких порывах казалось, будто где-то вдалеке стреляет пушка. Как ни странно, Люси не просыпалась вовсе, но дважды поднималась с постели и одевалась. По счастью, оба раза удавалось вовремя проснуться и раздеть её, не разбудив, укладывая обратно в постель. Странная всё же вещь — это хождение во сне: стоит физически воспрепятствовать её намерению, каким бы оно ни было, как оно тотчас исчезает, и она почти безропотно возвращается к обычному распорядку.

Рано поутру мы обе поднялись и спустились к гавани — узнать, не случилось ли чего ночью. Народу вокруг почти не наблюдалось, и хотя солнце светило ярко, а воздух оставался чистым и свежим, огромные, суровые на вид волны, казавшиеся тёмными на фоне снежно-белой пены на гребнях, врывались в узкое горло гавани — точь-в-точь задира, прокладываящий себе путь сквозь толпу. Отчего-то стало легче на душе при мысли, что Джонатан минувшей ночью находился не в море, а на суше. Но ах, на суше ли он теперь, или в море? Где он и что с ним? Тревога за него становится поистине невыносимой. Знать бы только, что предпринять — да суметь предпринять хоть что-нибудь!

10 августа. — Похороны бедного капитана прошли сегодня, глубоко тронув всех присутствующих. Казалось, собрались все до единой лодки гавани, а гроб несли капитаны на всём пути от Тейт-Хилл-Пирс до самого кладбища. Люси отправилась со мной, и мы заранее заняли своё привычное место, откуда процессия лодок поднималась вверх по реке к виадуку и спускалась обратно. Открывался прекрасный вид почти на всём протяжении пути. Бедного моряка упокоили совсем неподалёку от нашей скамьи, так что в нужный момент пришлось встать на неё, чтобы всё разглядеть. Бедняжка Люси казалась крайне взволнованной. Она то и дело бес-

покойно ёрзала, и не могу не подумать, что ночные сновидения начинают сказываться на её состоянии. Странность в одном: она сама не признаёт за собой никакой причины для беспокойства — а если и признаёт, то сама её не понимает. К тому же прибавилась новая причина для тревоги — сегодня утром бедного старого мистера Суэйлса нашли мёртвым на нашей скамье, со сломанной шеей. Судя по всему, как заметил врач, он упал назад в кресле от какого-то испуга, ведь на лице его застыло выражение страха и ужаса, заставившее, по словам присутствующих, содрогнуться. Бедный, добрый старик! Быть может, в последний миг ему довелось увидеть саму Смерть! Люси настолько мила и чувствительна, что острее прочих переживает подобные впечатления. Только что её расстроил один пустячный, казалось бы, случай, на который сама я не обратила особого внимания, хотя сама очень люблю животных. Один из мужчин, частенько поднимающихся сюда высматривать лодки, пришёл со своим псом — тот всегда его сопровождает. Оба они тихого нрава — никогда не доводилось видеть этого человека сердитым, ни слышать лая этой собаки. Во время службы пёс наотрез отказался подойти к хозяину, сидевшему рядом с нами на скамье, держась в стороне, лая и подвывая. Хозяин заговаривал с ним то мягко, то строго, то уже сердито — но пёс не подходил и не унимался. Он пребывал в настоящем неистовстве, с дикими глазами, вся шерсть встала дыбом, точно хвост кошки, изготовившейся к схватке. В конце концов мужчина тоже разозлился, спрыгнул вниз, пнул собаку, а затем схватил за загривок и наполовину оттащил, наполовину швырнул прямо на надгробие, на котором установлена скамья. Стоило псу коснуться камня, как бедное животное мгновенно притихло, охваченное дрожью. Бежать оно не пыталось, лишь съёжилось, дрожа и робея, пребывая в столь жалостном состоянии ужаса, что захотелось хоть немного утешить его — впрочем, безуспешно. Люси тоже прониклась жалостью, хотя прикоснуться к собаке не решилась, глядя на неё с выражением мучительного сострадания. Крепко опасаясь: натура её слишком чувствительна, чтобы пройти по жизни без потрясений. Не сомневаюсь, нынче ночью всё это ей приснится. Вся эта совокупность впечатлений — корабль, приведённый в порт мёртвым рулевым; его поза, привязанные к штурвалу руки с распятием да чётками; трогательные похороны; собака, то яростная, то охваченная ужасом, — всё это даст обильную пищу для её сновидений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.